

Наши

Расулзаде

народный писатель Азербайджана



ДОМ

Повесть

Этот поезд мне чертовски надоел за трое суток езды в нем. Грязный от пола до, казалось, годами невымытых стекол окон, которые не хотели ни опускаться – закрытые, ни подниматься опущенные, так что в коридор задувал ветер, нанося солидный слой пыли на все, что тут имелось. Плевки и раздавленные окурки на полу. В купе тоже было не чище. Клубы дыма. Громкие разговоры за стеной. Впечатление, что стена эта сделана из картона – такая слышимость. Дурацкая игра в подкидного, сопровождающая, как правило, все поездки; игра, кажется, столь же древняя, как сама идея передвижения в пространстве в обществе таких же, как ты сам, болванов. Хмурая, с вечно испачканным подбородком проводница, старающаяся подсунуть вам теплый и светлый, как моча, чай. Мне все представлялось, что, когда ей это удавалось, проводница, заперевшись в туалете, сев на унитаз, хихикает, протирает руки, чтобы дать выход своим чувствам. В холодном и вонючем туалете. Я ее возненавидел. Хватило бы и двух часов, чтобы возненавидеть ее, а заодно и всю эту поездку, весь вагон, купе, дикие, беспричинные взрывы хохота за стеной; стук костяшек домино серопижаменных, напоминающих пациентов психбольницы, попутчиков; пронзительный, как зубная боль, непрекращающийся плач ребенка за два купе от нашего, дискомфорт; холод по ночам, неизвестно откуда берущийся, если вспомнить, что середина мая, довольно-таки теплого, чтобы не сказать жаркого... Все это я возненавидел до того сильно, что решил сойти с поезда на ближайшей станции. Когда я осведомился у проводницы, она, предварительно поковыряв толстым пальцем в зубах, зло и официально, будто радио на платформе, объявила, что ближайшая станция только через шесть часов, то есть под утро, и называется она – Городок. «А какая она из себя? – глупо спросил я, изо всех сил притворяясь, что общение со столь обходительной проводницей доставляет мне удовольствие и хочется его немного продлить. – Что это, на самом деле городок? Жить в нем можно?» «А кто его знает... – не сразу ответила она, предварительно посмотрев на меня так, будто я нахамил ей; но тут же взгляд ее стал презрительным, видимо, своим наметанным оком она угадала во мне бездельника, которому все равно куда ехать и где выходить. – Называется Городок. А жить... можно, наверно, раз живут в нем...»

Я с облегчением прекратил расспросы и поспешил отойти от неприветливой проводницы, пока она не начала ковыряться в заднице, вошел в купе, где густо



воняло носками и стоял трехголосый храп, и прилег на свою нижнюю полку. Городок... Какое безликое название, бледное, стершееся... Городок... Обесцвеченная алая роза-цветок. Ну, черт с ним, пусть будет Городок... Мне до того здесь надоело, что все равно я должен выйти на той станции, отдохнуть день-два, а потом отправлюсь в путь на другом, может, не таком занюханном и противном поезде. Впереди меня никто и ничто не ждало, позади – бесполезное прошлое, изредка напоминающее о себе всплывавшим осадком горечи; я был свободен и решил, что мое настоящее вполне могло бы пройти в этом без цвета и запаха в моем представлении – Городке. С этим я и заснул. Но странное дело: проснулся я ровно за десять минут до станции, обещанной проводницей, будто кто разбудил меня, хотя до самой минуты пробуждения спал крепко. Я вышел в коридор. Было еще темно, в окна поезда смотрела ночь, и лишь еле заметная розоватость на далеком краешке неба предвещала скорый рассвет.

– Вот он, Городок, – вдруг услышал я за спиной вкрадчивый голос и вздрогнул от неожиданности.

– Фу, как вы меня напугали... Вы что, подкрадывались, что ли?..

Неопрятная, с опухшим – после сна или бессонницы – лицом проводница даже не обратила внимания на мое восклицание, да так естественно, будто я и рта не раскрывал. Дивиться ее поведению можно было бесконечно: то облает вместо ответа, то, изменив голос, подкрадется и напугает, то вместо минеральной принесет спитой чай и неуклюже прольет на брюки и, не извинившись, уйдет; но я уже немного привыкал к ее странностям и потому не стал настаивать, чтобы она непременно среагировала на мои слова, а перевел взгляд туда, куда она, выпучив свои – никак их иначе не назовешь – буркалы, показывала, да так, будто узрела за стеклом свою покойную тетку, которую отравила прошлым летом, чтобы завладеть ее серебряным колечком и шестьюдесятью тремя рублями в кошельке. Я увидел вдали по ходу поезда недружные кучки перемигивающих в темноте огней, то там, то здесь, и это показалось мне довольно странным: люди в Городке не спали в такое время, причем – все. Под утро, когда самый сладкий сон, и когда я, черт знает почему, проснулся; на весь поезд один, наверное, такой умник нашелся. По крайней мере, весь наш вагон, кроме меня и проводницы, спал.

– Они не спят в такое время, – пробормотал я, всматриваясь в огоньки в убогающей ночи. – Надеюсь, не из-за моего приезда?..

– Вы здесь выходите? – опросила проводница хмуро.

– Я вижу, вас это не радует.

– Мне начхать на это! – почему-то вдруг вспыхнула она. – Просто я дала знать главному машинисту, что в Городке будут выходить. Чтобы он остановил. Видите, сколько из-за вас хлопот, – сказала она и, резко взяв с места, пошла к себе.

– Но... Но, погодите, как же... Что значит – остановил? Разве... Я не понимаю...

– Потом поймете, – сказала проводница, широко зевнув, и юркнула, как большая крыса в свою нору, хлопнув дверью так, что любая другая дверь превратилась бы в щепки. Видимо, таким образом она намекала, чтобы ее ни в коем случае не беспокоили.

Я зашел в купе, где по-прежнему стояла густая вонь и храп, взял свой чемоданчик. Я всегда путешествую налегке. Особенно когда уезжаю беспричинно в никуда, вот как сейчас, к примеру, и еще даже приблизительно не знаю, когда

вернусь обратно. С чемоданом в руке я стоял в коридоре и смотрел на огоньки Городка, к которым, замедляя ход, подходил осточертевший мне поезд. Наконец он подъехал к платформе. Из своей норы вылезла проводница, почему-то с кобурой на поясе, молча, поспешно открыла мне дверь и тут же, едва успев я выскочить, – кажется, она даже вытолкнула меня слегка, – захлопнула дверь с такой силой, что окажись там моя нога, быть бы мне инвалидом. Поезд, будто ждал этого, дернулся и пошел, но не так, однако, плавно, как можно было ожидать от поезда дальнего следования. Когда я ступил на камень платформы (Земля! – закричали матросы, размахивая чемоданчиками), стало ясно, что она, платформа, явно не рассчитана на такие длинные составы, она была чуть не вдвое короче поезда, так что добрая половина состава оказалась хвостом, на которую платформы не хватило, и если б из тех вагонов выходили пассажиры, им пришлось бы... Но тут я вовремя заметил, что никто здесь, кроме меня, не вышел из поезда. Недоброжелательное выражение проводницы в окне осточертевшего мне вагона поплыло, оставаясь по-прежнему недоброжелательным. Поезд ушел. Я провожал взглядом его растворявшиеся в предутреннем тумане красные огоньки на уровне крыши последнего вагона, пока они не исчезли вовсе. Только тогда вдруг я обнаружил, что не так уж одинок на этой платформе. Недалеко от меня стоял пожилой мужчина в форменной фуражке, вероятно, начальник маленькой этой станции, чуть поодаль от него – молодой, очень худой мужчина, напоминавший дистрофика, и тоже в фуражке; почему-то я сразу признал в нем телеграфиста и не ошибся. Рядом с ним лежала большая беспородная собака, тихая, как кошка. И начальник станции (который и оказался им, как я предполагал), и угаданный телеграфист, и даже собака (которая тоже оказалась собакой, несмотря на кошачью тихость, или тихую кошатость) так удивленно таращились на меня, что я немного опешил, стал озираться, смущенно оглядывать себя и, хоть и не собирался, но, учитывая, что мир в данном случае сузился до размеров платформы, где мы все стояли, и это, вероятно, как-то косвенно сближало нас, я поздоровался и был оставлен без ответа. Они будто онемели, разглядывая меня. Мне стало неприятно оттого, что они не ответили на мое приветствие, которое я и так через силу извлек из себя, потому что не привык здороваться с незнакомыми людьми. Наконец, пожилой – а вернее, приглядевшись, его с полным основанием можно было назвать стариком – будто пришел в себя, медленно, как сомнамбула, подошел ко мне с вытянутой рукой и с таким видом, словно желал прикоснуться ко мне, чтобы убедиться, что я ему не приснился. По крайней мере, выражение лица у него было именно такое: ему не верилось, что я стою рядом, на одной с ним платформе. Стоит ли говорить, как я был удивлен и озадачен подобным поведением взрослого человека.

– Вы... – заговорил он не совсем понятно. – Вы... – он вдруг запнулся, будто силы отказали ему. – Вы здесь вышли из поезда?..

– Да, – сказал я, пожав плечами. – Я вышел. Не понимаю, что тут...

– Вам здесь кто-то нужен? – прервал меня телеграфист диким вопросом.

– Кто-то нужен?.. – я все больше впадал в недоумение. – Что значит – кто-то нужен?..

– Видите ли, – неожиданно совершенно другим тоном заговорил начальник, – у нас тут, на нашей станции, никто не выходит.

– Не понимаю, – сказал я и замолчал в ожидании каких-нибудь объяснений.

– Дело в том, – заговорил снова тощий телеграфист, – дело в том, что здесь незачем выходить.

– Что вы этим хотите сказать? – вынужден был я снова задать вопрос, так как он замолчал.

– Видите ли, – сказал начальник с видом человека, которому приходится объяснять очевидные вещи и потому ему трудно и неинтересно. – Это станция. Просто станция.

– Да, – сказал я. – Просто станция. И что?

– Больше ничего, – сказал начальник. – Понимаете, здесь больше ничего нет, кроме этой станции.

– Что? – спросил я. – Не понял, простите.

– Это просто станция, – стал пояснять, как слабоумному, тощий телеграфист (ТТ – как я тут же назвал его про себя).

– Станция. Маленькая станция посреди огромной степи.

– Степи? – мне показалось, что ослышался. – Как степи?.. Мне сказали, что здесь Городок. Мне в поезде сказали.

– Да. Это верно, – проговорил начальник. – Но Городок – это просто название. Никакого Городка на самом деле нет.

– Как? Что значит нет? – постепенно я переставал верить в реальность происходящего; или все это походило на дурную шутку, дикий розыгрыш не совсем здоровых людей. – Я же сам видел огни домов...

– Это так. По ночам вся степь в каких-то непонятных огнях. То есть не вся, а какой-то определенный участок степи, как раз за нашей станцией. Мы не знаем, что это. Мы туда не ходим ночью. Из-за этих огней все и думают, что здесь Городок. Но на самом деле никакого Городка нет. Вы можете сами убедиться, – сказав это, ТТ легонько дотронулся до моей руки, приглашая идти с ним.

Уже совсем рассвело, утренний туман рассеялся, и видимость была прекрасной. Степь перед станцией казалась ужасающе пустой и бескрайней. ТТ подвел меня к краю платформы, где кончалось серое здание вокзала, и такую же степь, абсолютно без всякого признака жилья, я увидел и с другой стороны станции. Я опешил. Что же это? Получалось, что станция – какой-то нелепый островок среди этой огромной выжженной степи.

– Вот это да... – только и смог произнести я. – А Городок...

– Нет никакого Городка, – сказал начальник, подошедший вслед за нами к краю платформы. – Никакого Городка. Но пассажиры поезда не знают об этом. Они-то проезжают здесь только ночью, когда всюду полыхают огни в степи. И тем, кто не спит, чудится Городок. Поезд здесь стоит пять секунд, да и то не всегда. Вот и прозвали по неведению. Но здесь, кроме нашей станции, ничего нет, и вы теперь в этом убедились. Да?

– Да, – машинально, бездумно повторил я за ним. – Но как же?.. Скажите, а когда будет следующий поезд?

– Следующий поезд? – начальник изумленно глянул на меня, будто я спрашивал о сроках его смерти.

– Это одному только Богу известно, – произнес ТТ обычную фразу с несколько акцентированной религиозностью. – Поезда мимо нашей станции идут крайне нерегулярно. Следующий может быть через неделю, а может – и через год. Однажды уже случалось такое: поезда на нашей станции не было четырнадцать с

половиной месяцев. Мы даже, честно говоря, и не ждем их больше. Поэтому мы и удивились, увидев вас тут. Здесь никто не выходит.

– Что же... – я был в крайней растерянности, не в силах пока переварить всю ту нелепую информацию, что получил от этих двоих. – Что же мне делать?..

– Да-а... – проговорил начальник. – Задача... Ну, мы вас устроим. Но, сами понимаете, живем мы тут, так сказать, одной семьей, все свои. Так что, ничего не попишешь, вынуждены принять вас в семью. Будете, так сказать, гостем семьи. А ты, – обратился он к ТТ, – иди, срочно телеграфируй, что у нас произошло ЧП. Высадился пассажир. Не знаем, что делать. Ждем указаний. Ну и все такое, сам знаешь. Пусть у них тоже голова болит.

ТТ кивнул и ушел внутрь здания. Начальник поглядел на меня с доброй улыбкой и покачал головой:

– Да, задали вы нам задачу.

– Я не доставлю вам хлопот, – пообещал я, все еще мало что понимая и имея в запасе кучу вопросов к нему.

– Как это вас угораздило сойти именно здесь?

– Да я, собственно говоря... – начал я, теряясь, не желая, чтобы он думал обо мне как о бездельнике, которому все равно, куда ехать и где выходить из поезда. – Я ехал отдохнуть... Поменять обстановку. А Городок мне понравился, то есть огни Городка так манили... Я и решил...

– Понятно, – произнес начальник, хотя по его виду вряд ли ему на самом деле было понятно, как это человек вдруг так просто, за здорово живешь, может взять и выйти на незнакомой станции.

– Что ж, берите ваш чемоданчик, пойдемте устраиваться. Шикарных апартаментов не обещаю, но комнату с рукомойником могу предоставить... – он шел впереди меня и то ли кричал, то ли посмеивался. – Да, пассажир, вляпались вы. Когда еще поезд придет... А часто они и вовсе не останавливаются на нашей станции, просто проскакивают на полном ходу... Да-а, история. Нашли, где выходить... Хе-хе-хе...

Как только мы вошли в маленький зал (это, видимо, был зал ожидания, сохранились даже пожелтевшие листки расписания поездов на стене и стойка буфета в углу, но теперь зал был обставлен по-другому и оставались лишь намеки на то, что это был некогда станционный зал ожидания; были убраны ряды кресел для пассажиров и посреди зала поставлен один большой, длинный и низкий стол, окруженный этими самыми креслами, а в конце зала было что-то похожее на отдельные кабинки для переодевания), нас тут же обступили, несмотря на раннее утро, и это, надо полагать, было все население станции. Видимо, расторопный ТТ успел всех поднять на ноги и ошеломить необычной вестью, подумал я, но оказалось, что я не совсем прав; хотя мое появление и в самом деле ошеломило всех, но подняло их на ноги ни свет ни заря само прибытие поезда, что, как потом выяснилось, было замечательным и редким событием здесь. Я среди них, изумленно разглядывавших меня, чуть ли не трогавших руками, чувствовал себя будто пилот самолета, потерпевшего крушение, который попал в плен к первобытному племени в самом сердце джунглей. Если не считать начальника станции и ТТ, уже знакомых мне, тут были жена начальника, дородная, белая, малоподвижная женщина с лоснящимися волосами, не произнесшая ни звука при нашем знакомстве; бывшая буфетчица с таким стертым лицом, что сразу я затруднился

бы определить ее возраст, но жеманная не в меру и не соответственно возрасту, каким бы он ни был; хмурая, чем-то неуловимо напоминавшая ТТ, дочь начальника станции, и пожилая супружеская пара, с виду добряки и безобиднейшие люди – сторож и его жена. Мы перезнакомились, и я был принят в их общество как незваный гость, но гость, которого не прогонишь, потому что некуда.

Мне выделили маленькую комнатку, и на самом деле, как обещал начальник станции, в ней был рукомоиник, очень вместительный, но местами проржавевший, была там и койка (иначе это приспособление для сна не назовешь, на кровать она была мало похожа, именно походная койка-раскладушка) и еще узкий шкаф с двумя отделениями, одно – с полками для белья, другое – для костюмов и пальто. Окно комнаты, почему-то зарешеченное крепкой, чуть не тюремной решеткой, выходило как раз на платформу, на передний фасад здания вокзала. Судя по решетке, можно было догадаться, что раньше в этой комнате располагалась канцелярия, и в ней, возможно, хранились секретные документы, потому и такая предосторожность с окнами. И догадка моя подтвердилась в какой-то мере, когда то, что я принял за табурет перед столиком, оказалось маленьким, но довольно тяжелым сейфом, аккуратно прикрытым покрывалом до пола и, таким образом, предлагаемым мне в качестве сиденья перед столом, если мне здесь вообще понадобится сидеть за столом. Внешний вид койки, хоть я и устал очень, был до того отталкивающим и не располагающим к отдыху, что при одном лишь взгляде на это неуклюжее сооружение сон у меня моментально пропал и захотелось поскорее выйти из этой конуры (будто нарочно уставленной надолго портящими настроение вещами) и пройтись хотя бы по платформе, подышать свежим воздухом. Но тут как раз дверь моей комнаты несколько бесцеремонно открылась (именно – несколько, потому что открылась дверь, хоть и без предварительного стука, но как-то слишком уж робко, слабыми, нерешительными рывками, будто за дверью стоял ребенок и, открывая дверь, все время сомневался, стоит ли?), и на пороге появилась жена сторожа вокзала, который непонятно что здесь сторожил... Впрочем, все было непонятно, начиная с ТТ (тощего телеграфиста, как я сокращенно его окрестил, потому что он мне сразу же не понравился, видимо, вследствие того, что мое появление здесь, мягко говоря, не вызывало в нем особого воодушевления; вскоре я догадался почему: он, возможно, увидев меня, сразу же подумал о потенциальном сопернике в деле обхаживания не менее тощей дочки начальника, хотя тут налицо тот факт, что длительное, надо полагать, обхаживание уже дало свои плоды – эти двое походили друг на друга, хоть и не были супругами; очевидно, дремучий начальник считал своего подчиненного не очень выгодной партией для дочери и ждал появления принца в этой глуши, забытой Богом. Однако я увлекся) и кончая молчаливой собакой, которой даже полаять на незнакомого человека было лень, или же сил не хватало. А сокращенно прозвал телеграфиста я потому, что имею привычку наделять сокращенными обозначениями людей, неприятных мне, словно одним только этим они становятся недостойны полных нормальных человеческих имен. Словом, все тут было пока непонятно мне, начиная от ТТ и кончая собакой. Вспомнив о собаке, я по ассоциации вспомнил и о еде. Чем они ее кормят?

Что они сами едят, если, как утверждают, поезда не бывает здесь месяцами? Да даже когда он бывает, разве на нем привозится провизия, если он стоит здесь всего лишь пять секунд? Все было странно, сомнительно, загадочно... А женщи-

на, между тем, все еще продолжала стоять на пороге моей комнаты, не решаясь войти.

– Входите, – сказал я, чувствуя неловкость оттого, что заставил ждать старую женщину, но не извиняясь, чтобы они поняли, что нельзя меня беспокоить, когда им вздумается пообщаться с новым человеком.

– Извините, – произнесла она, и в ее усталом голосе послышалась одышка, хрип неблагополучных легких и еще множество старческих болезней, одолевавших ее рыхлое тело, казалось, насильно всунутое в нечто, что затруднительно было бы назвать платьем; скорее напоминающее балахон, нечто темное, бесформенное, дающее понять, что с одеждой у них туговато; и я тут же вспомнил молодых ТТ и дочку начальника, их убогую, старую, хоть и безупречно вычищенную одежду.

– Извините, – повторила женщина и колыхнулась в комнату, вошла и, казалось, заполнила все оставшееся после столика, шкафа и койки пространство комнаты.

– Прошу прощения, – уже становясь назойливо-церемонной, произнесла она, с силой выдавить на своем лице улыбку, и сейчас же обнаружился маленький букетик полевых цветов в ее руке. – Это вам... С приездом.

Учитывая сумятицу в моей голове в связи с необычной ситуацией, в коей я пребывал, последние слова ее прозвучали для меня с издевкой, хотя можно было поклясться, что никаких издевательских ноток в ее тоне не было. Я машинально принял букетик и, не зная, куда бы его пристроить, стал вертеть в руке.

– Очень тронут, – невнятно пробормотал я. – Очень мило...

Она вдруг без приглашения уселась на койку и, заметив мой недоумевающий взгляд, который, впрочем, я изо всех сил старался погасить, проговорила глухим голосом:

– На этой кровати умер мой сын, – она помолчала, потом продолжила печальным голосом. – Это случилось позапрошлым летом. У него открылась чахотка. Скоротечная чахотка. Он и всегда, с самого детства, был слабенький, а тут вдруг, разом... Телеграфист давал телеграммы одну за другой, но никто не ответил. У нас не было лекарств, а поезд не приходил уже пятый месяц... – она, словно утомившись от долгого разговора, замолчала, переводя дыхание.

– Он умер здесь? – я показал букетиком на кровать, и не нужно было быть слишком наблюдательным, чтобы заметить брезгливость этого жеста.

Но женщина, отдышавшись, невозмутимо, будто и не было моего вопроса, продолжала:

– Мы его похоронили за вокзалом, совсем недалеко отсюда... Хотя начальник и возражал, чтобы могила была слишком близко к вокзалу, но я попросила, я сказала – мне тяжело идти далеко, и он разрешил... Мы похоронили его, справили поминки, все честь честью. А через шесть дней приехал Поезд. Правда, в нем не было врача. Да и лекарств они не привезли. Да и вовсе не остановились. Может, там и был врач, он все равно не успел бы помочь, если б сын еще был жив. Может, это и к лучшему, что он не дождался Поезда? Все-таки он до последнего часа жил надеждой, что Поезд придет, и ждал его, как спасения. И если бы Поезд так при нем... Это было бы для него жестоким ударом... Может, и к лучшему, что не дождался... Ему было двадцать шесть лет, моему сыночку... – она неожиданно поднялась, тяжело охнув, и медленно пошла к двери, уже выходя, обернулась и сказала: – Я покажу вам его могилу, если хотите. По-моему, если б он был жив,

вы бы с ним подружились, у него был такой мягкий характер, да и возраста вы, если не ошибаюсь, почти одного. Я покажу вам его могилу, – повторила она и, кажется, я кивнул, и она сказала еще: – А все-таки хорошо, что вы приехали. Вы нам расскажете, как там, как в большом мире живут... Хотя нет, начальнику это не нравится. Мы даже не включаем радио, а у нас есть радио... Правда, нет линии радиопередач, просто стоит коробка радио, мертвая коробка, но все же... все же оно когда-то было радио, говорило, как живое... Нет, мне тоже не нравится, нам всем не нравится узнавать новости. Так мы привыкли, вы понимаете? Если хотите есть, спускайтесь вниз, провизией у нас занимается мой муж и дочь начальника станции. Сейчас не время для еды, но для вас наверняка сделают исключение, – проговорив все это, она не спеша, как-то заторможено притворила за собой дверь и скрылась из глаз. Под ее медленными старческими шагами заскрипели половицы в коридоре, а затем скрип послышался от деревянной лестницы, ведущей в зал. Я машинально крутил в руке букетик, потом, заметив его, отшвырнул в сторону и сел за стол. В голове был такой невообразимый кавардак, что не могло быть и речи сейчас сосредоточиться, собраться с мыслями; все это не укладывалось в сознании, не подчинялось никакой логике и скорее напоминало дурной сон, когда спишь и знаешь, что это сон, и если он неприятный, то надо только заставить себя проснуться. Я даже грешным делом ущипнул себя, чтобы... Впрочем, я прекрасно понимал, что это явь. И было странным еще и то, что с того момента, как я очутился здесь, на станции, прошло каких-нибудь часа два, а я, понимая всю абсурдность ситуации, в какую попал, в то же время чувствовал, как постепенно принимаю все, как должное, вживаюсь в эту неправдоподобную ситуацию; наверно потому, что перед глазами были люди, давно уже вжившиеся и считавшие это вполне естественным. Что все это явь, а не сон, лишний раз подтвердил стук в дверь, после чего дверь сразу же открылась, и вошел начальник станции.

– Вы, наверно, проголодались? – спросил он.

Я молча кивнул, продолжая сидеть за столом.

– Новый человек для нас тут – событие потрясающее, – сказал он. – Честно говоря, мы все страшно переполошились.

– Понимаю, – кивнул я.

– Нет, – сказал он, – вы всего не можете понять. Я четырнадцать лет начальник этой станции, приехал сюда четырнадцать лет назад с семьей. Через два года после меня приехал телеграфист. Это был последний человек за двенадцать лет, которого я видел выходящим из вагона на нашей станции. Все остальные жили тут до нас, некоторые уже померли, от старости, от болезней. У нас есть даже свое маленькое кладбище, здесь недалеко, – он помолчал, потер лоб, будто силясь вспомнить что-то.

– Вы садитесь, – предложил я ему, воспользовавшись возникшей паузой.

– А? Нет, нет. Да, вспомнил. Вот что я зашел... Мы тут, вы уже поняли, наверно, живем сообща, так сказать, коммуной, у каждого – свои обязанности... Я вам хотел показать наше хозяйство, мы сами производим продукты, ну, вы увидите... Есть корова, куры, поросята, огород, сад фруктовый, – в его тоне явно сквозила гордость за перечисляемое, и было видно, как он сдерживается, чтобы не назвать все остальное и не быть смешным. – Все создавалось понемногу, а некоторые вещи были здесь еще до моего приезда. Самый старый среди нас был отец теперешнего сторожа. Он умер всего три года назад в преклонном возрасте, но почти до послед-

него своего часа выполнял свои обязанности, работал потихоньку, так за работой и помер... А потом и внук его скончался, сын сторожа... Вам жена его, наверно, уже рассказала?.. Это была его комната... Так вот... О чем я?.. А! Ну, значит, мы давно распределили между собой обязанности и выполняем каждый свою работу. И вам найдется дело. Сами понимаете, нельзя вам в сложившихся обстоятельствах быть не при деле. Следующий поезд неизвестно еще когда придет, а пока...

– Разумеется, – сказал я. – Я готов делать любую работу, какая понадобится.

– Да? – спросил он чуть недоверчиво, и было заметно, как словно гора свалилась с его плеч, видно, он не очень-то надеялся на мою покладистость; настороженность с их стороны к новому человеку вполне понятна. – Я очень рад, что вы так сказали, – бесхитростно проговорил он. – Нам тут, сами понимаете, дорога каждая пара рук, нас не так-то много, а дел гораздо больше, еле справляемся. Когда вот так живешь и можешь надеяться только на себя, чтобы не умереть с голоду, это ведь совсем другое дело, верно? Это ведь не в городе на всем готовом, – он опять замолчал.

– Понятно, – сказал я, видя, что он не собирается продолжать. – Может, вы присядете?

– О нет! – встрепенулся он, оторвавшись от своих мыслей. – Я хотел только позвать вас немного подкрепиться, а потом, если хотите, мы осмотрим наше хозяйство и найдем вам какую-нибудь работенку. Вы что умеете? – спросил он.

Вопрос этот своей необычностью резал слух, был не из того мира, откуда привез меня Поезд; он, этот вопрос, был слишком из их мира, чтобы не повиснуть в воздухе этой мрачной комнатки. «Вы что умеете?» – спросил этот человек, и фраза его какое-то время еще продолжала звучать у меня в ушах, как качает ветку давно улетевший ветер. Я стал вспоминать, что я умею существенного, что могло бы пригодиться в данной ситуации. Не ерунду, вроде бумагомарания, чем нравилось мне заниматься в «той» жизни (вот еще интересный момент: с моим появлением здесь у меня, как, наверно, и у них, словно прошла черта по жизни, деля ее на два периода – до попадания в призрачный Городок и после того, как я очутился здесь, на станции), не ерунду, которая в большом обществе, в многочисленных городах может прокормить, а настоящее. Настоящее! Что же я умею?..

Я немного занимаюсь точечным массажем и иглоукалыванием. Снимал боли, утомление, бессонницу...

– Неплохо, – сказал он и выжидающе посмотрел на меня.

– Когда-то давно, я работал строителем, готовил панели для крупноблочных домов.

– Вряд ли это может понадобиться, – сказал он.

– Да, – вспомнил я совсем далекое, – еще вот самое главное, наверно: я очень люблю ухаживать за деревьями. Еще мальчишкой на даче. Отец научил. Деревья и цветы. У нас были фруктовые деревья и кусты роз. Я справлялся...

– Это хорошо, – сказал он, – это может пригодиться. Правда, у нас садовником сторож, но вы могли бы ему помогать, верно?

– Конечно, – сказал я, – с удовольствием.

– Ну ладно, – сказал он.

– Еще я мог бы взрыхлять землю для посадки, рыть, – пояснил я, делая жест, будто в руках у меня лопата, и почему-то заговорив с ним как с глухонемым, – рыть землю.

Он усмехнулся.

– Я понял, – сказал он.

Еще я немного плотничал, но тоже очень давно, могу вспомнить, если понадобится.

– Ладно, – сказал он. – Пойдемте вниз. Сейчас день, а днем у нас никто не отдыхает. Только ночью. Вы хоть и приехали только что, но не будете исключением.

– Хорошо, – сказал я. – Я и не собирался отдыхать.

Мы с ним вышли из комнаты, дверь которой никак не запиралась, ни изнутри, ни снаружи, и спустившись вниз по узкой, скрипучей лестнице (здесь вообще, на первый взгляд, пока человек не привыкнет, все казалось слишком узким и скрипучим: комнаты узкие, будто вагончики, коридоры узкие – не протолкаться вдвоем, даже зал продолговатый, со скрипящими, поющими половицами и огромной, но тоже узкой печью до потолка, напоминающей тендер старинных паровозов), очутились в зале.

– Да, вот еще, – сказал я, видимо, неосознанно придерживая напоследок то, что требует публика, которая и окружила нас в зале. – Момент, – сказал я и стал вытаскивать у начальника станции из кармана бесконечную красную ленту. – Ап! – сказал я и вытащил из его уха золотой, продемонстрировав всем и то и другое.

– О! – воскликнул начальник станции. – Золотая монета!

Я показал на ладони всем, в восхищении затаившим дыхание, маленькую желтую монетку.

– Давно я не видел денег, – сказал начальник станции, протягивая руку к золотому. – Это вы вытащили из моего уха?

– В какой-то мере, – уклончиво ответил я.

– Значит, это мой золотой? – наивно поинтересовался он.

– Нет, – сказал я. – Это моя монета. Просто я показал вам фокус.

– Фокус? – сказал он.

– Да. Это фокус, – пояснил я. – Ловкость рук, понимаете?

– Не совсем, – признался он. – Значит, монета не моя?

– Папа, – обратилась к нему дочь, – это фокус, как в цирке показывают, помнишь?

– Не совсем, – повторил он. – Смутно... Фокус, – раздумчиво повторил он, с сожалением, неохотно возвращая мне монету.

– Вы могли бы как-нибудь продемонстрировать нам ловкость ваших рук? – несколько жеманно опросила дочь начальника станции. – Мы здесь так отвыкли от всяких таких зрелищ...

– Конечно, – сказал я, – с удовольствием.

Все здесь в зале были в сборе, и начальник станции вторично представил нас друг другу. Они опять разглядывали меня, как экзотическое чудо, невиданную диковинку, чуть ли не с раскрытыми ртами разглядывали. Видно, как и для меня многое было здесь уму непостижимо, так же и у них не укладывалось в сознании, как мог человек выйти из поезда на их станции и так запросто вторгнуться незванным в их жизнь. Вторично представил нас начальник станции, наверно, по своей обычной забывчивости, причем никто не стал перебивать его и напоминать, что знакомство уже состоялось. Промолчал и я, повторно пожимая руки. Сухие рукопожатия, растерянные глаза, ни намек на улыбки. Все, как в первый раз, только чуть помягче, чуть затушевано небольшим промежутком времени, когда я

сидел в комнате, а у них была возможность все обсудить и немного привыкнуть к уже свершившемуся факту. Что интересно, начальник станции знакомил нас точно так же, как и в первый раз, не произнося ни единого имени, так что можно было подумать, что имена здесь утратились за долгие годы пребывания вне большого мира. Не спросил он и моего имени.

– Это наш сторож, это телеграфист, это моя дочь, это жена сторожа, – говорил он, – это буфетчица, это моя жена, прошу вас знакомиться, а это – пассажир который по ошибке вышел на нашей станции, случайный пассажир, так сказать, – представил он и меня, ни на букву не изменив своего прежнего представления, отчего я даже засомневался: на самом ли деле у него такая забывчивость, которую он старательно демонстрировал при каждом удобном случае? Тем не менее, мы все без единого слова, без единого звука вторично перезнакомились. Мне показалось, что в отличие от остальных, дочь начальника станции как-то странно посмотрела на меня и несколько значительнее предыдущего рукопожатия пожала мне руку, задержав ее на миг дольше в своей руке. Я не стал придавать этому значения, отнеся это в счет впечатления от нового человека. Позже некоторые из них, подобно ТТ, стали для меня (имен я так и не узнал) одной или двумя буквами, но пока еще предстояло пожить среди них. Начальник станции сказал: «Прошу», показав рукой на маленькую дверцу, выходящую на заднюю, гораздо более узкую, чем передняя, платформу вокзала, и мы вышли осматривать хозяйство и подыскивать мне подходящее дело. Покормить меня, видно, забыли, и я не стал напоминать, так как за всеми этими потрясениями дня не особенно ощущал голод. Мы вышли из зала на заднюю платформу, которая почти тут же, через шаг-полтора обрывалась под ногами, возвышаясь меньше чем на метр над землей. Я спрыгнул с платформы и в который раз с недоумением посмотрел на бескрайнюю – насколько взгляд охватывал – степь. Начальник станции, спустившись по четырем кривым ступеням в конце платформы, подошел ко мне, глядя мне в лицо ничего не выражавшим взглядом.

– Все еще не верится, – пробормотал я, изо всех сил стараясь хоть что-то разглядеть за линией горизонта.

– Что? – спросил начальник станции.

– Не верится, что вы тут так обособленно живете, – сказал я. – Неужели здесь нет никаких домов или поселка? Как же так?

– Нет, – он покачал головой. – Никакого поселка, ни домов. Да-а... Молодые поначалу часто ходили. Возьмут с собой еду и воду и пойдут. Возвращались через день-два. И моя дочь тоже. Однажды они заблудились, моя дочь и телеграфист. Три дня оставались без воды и пищи. Чудом отыскали дорогу назад. Последние километры добирались чуть ли не ползком, обессиленные. Мы их заметили километрах в двух от станции, побежали, принесли сюда, слава богу, выходили. Дочь тогда немного повредилась в уме, потом прошло, отдохнула, забылась... С тех пор я запретил всем искать жилье. Но сын сторожа не послушался и однажды убежал. Он был совсем молодой – двадцать или двадцать один. Он ушел летом, в середине лета, в самую жару, а вернулся осенью, ночью. Его нельзя было узнать. Оборванный, израненный, одичавший. Был похож на старика. Убивал, говорил, тушканчиков в степи и питался ими. Хотя здесь, близ Дома, мне не доводилось видеть ни одного тушканчика. Конечно, он тоже ничего не нашел, никаких следов человеческого жилья. Потом он долго болел, захворал легкими, кровью

кашлял – сильно простудился. Жена сторожа говорила, будто у него чахотка. Мы боялись идти в его комнату, даже когда он умер. Боялись подхватить заразу. Нам ведь нельзя болеть...

– Послушайте, – я чувствовал себя, как в дурном сне, – я не понимаю... не понимаю, что вам всем мешает покинуть этот вокзал, бросить все к чертям собачьим, ведь хоть и редко, но бывает же поезд, и в него можно заскочить даже за пять секунд...

– Это легко говорить, – пробормотал он и вдруг скорчил мне дикую рожу, но тут же лицо его снова приняло серьезное выражение, так что можно было подумать, что гримаса почудилась; я в недоумении вглядывался в его лицо, ожидая повторения несурзности, но он продолжал ровным тоном, словно стараясь убедить меня, что скорченная рожа на самом деле мне привиделась, тогда как я поклясться мог, поклясться... – Легко говорить, – повторил он с мрачным видом, – вы поживите тут сначала, потом давайте советы. Еще увидите...

– Да что тут видеть! – вскричал я вне себя от его сонной непрошибаемости и от своей неуверенности в разговоре с ним. – Дикость какая! Если вы хотите уехать, что вам мешает вскочить в вагон и все это навсегда забыть, оставить в прошлом, вернуться в мир, к обычной жизни?..

– Может, самая обычная жизнь и есть у нас, – сказал он, глядя в степь. – И потом, я не сказал вам главного: нас не пускают в вагоны.

– Как?! – мне показалось, что я ослышался. – Как вы сказали?

– Да, да, не пускают, – повторил он. – Ведь кто-то должен быть и работать на этой станции. Вот начальство и приказало – с этой станции никого в поезд не пускать. Проводники запирают двери, пока поезд стоит пять секунд, да и не стоит он даже и пяти секунд здесь, только притормозит – и снова поехал, будто боится, что зараза какая пристанет к нему с нашей станции. А чаще и вовсе не останавливается, проскакивает станцию на полном ходу. Вот так-то... Поначалу мы телеграфировали начальству, но они ответили, что пока не найдут нам смену, ничего не изменится, а жалования нам аккуратно поступают на наш счет в банке. Вот что нам ответили. Мы после этого телеграфировали много раз, но вскоре нам и отвечать перестали, а еще через некоторое время и телеграф перестал работать, видимо, вовсе убрали линию передач, чтобы мы им не досаждали попусту. Покойный сын сторожа однажды выбил стекла в вагоне, хотел пролезть в поезд, но его вытолкали, а поезда после этого не было целый год, да и те, что прибывали, уже не останавливались, мчались мимо...

– А как же вы говорили насчет меня телеграфисту? – машинально спросил я, хотя тревожило меня нечто несоизмеримо большее, гораздо более важный вопрос, чем этот.

– Да это у нас уже машинально, – сказал начальник станции и откровенно, не таясь, нарочно, чтобы я заметил, и с видимым наслаждением высунул мне язык; я опешил, но, кажется, не слишком явно выказал это. – Нечто ритуальное, – спокойно продолжил он, спрятав язык и вновь приняв серьезный вид. – Вроде игры. Он выполняет свое дело, хоть и знает, что его сигналов нигде не услышат.

– А? – все это казалось мне до того невероятным, что почудилось на миг – я потерял способность мыслить, что называется, абсолютно потерял голову. – А как же... – лепетал я, как ребенок, которого бессердечно обманули, – а как же я? Что же теперь я? Что со мной будет? Меня тоже не станут пускать в поезд?

– этот вопрос сейчас для меня был, пожалуй, главным, и я холодным краешком мозга, остававшимся все еще несколько рассудительным по сравнению со всем остальным невообразимым кавардаком, творящимся в голове, понимал, что нелепо задавать столь серьезный вопрос человеку, который строит вам рожи, но все же надеялся получить вразумительный ответ, сам себе напоминая страуса, прячущего голову от опасности – так и я: делаю вид, что не замечаю его более чем странного поведения, тем самым как бы утверждая, что вовсе и нет подобного поведения.

Он долго смотрел на меня, но так ничего и не ответил. Потоптался на месте, будто не решаясь заговорить.

– Мы хотели посмотреть хозяйство, – напомнил он, наконец.

– Хозяйство, – машинально, как эхо, повторил я, и тут меня обожгла мысль, что я могу здесь застрять надолго, среди этих уродов, могу застрять на всю оставшуюся жизнь, если то, что он говорит – верно, и отсюда никуда не убежать; я в бешенстве схватил начальника станции за грудь, истерично закричал: – Что же я буду?! Что же со мной? Вы должны, должны меня отправить!..

Я сильно тряс его, вне себя от ярости, чуть не плача от бессильной злобы, когда услышал неприятный скрипучий голос над головой:

– Отпустите старика.

Сгоряча я не сразу обратил внимание на возникший голос, тогда он повторился.

– Отпустите старика, – проверещал голос.

Я поднял голову и прямо над собой на платформе обнаружил телеграфиста и сначала, плохо соображая от бешенства, хотел кинуться на него, но что-то странное в выражении его лица остановило меня, а опустив взгляд чуть ниже, я увидел в его руке револьвер, черной дырочкой дула уставившийся мне прямо в лоб.

– Что? – глупо спросил я, все еще держа начальника станции за грудки.

– Отпустите его, – повторил ТТ, продолжая целиться в меня. – Как видите, у нас найдется средство, чтобы оградить себя от подобных ваших выходов.

Я отпустил начальника станции, он бережно оправил одежду, постоял, переминаясь с ноги на ногу, словно ему было неловко за мой поступок и он не знал, как загладить его, потом проговорил:

– Ну как? Мы будем осматривать хозяйство? – и отшагнул от меня.

Я машинально поплелся за ним, как во сне, а ТТ покинул платформу и вошел в здание станции.

– Вот здесь мы посеяли пшеницу, видите, поле довольно большое, но мы справляемся, у нас даже есть ручная мельница, может, мы ее и предложим вам, молоть муку; а тут у нас огород, вот, посмотрите; а там, в стойле – корова, был и бык, но старый, хворать начал и мы его зарезали; а вот там дальше – сад, – говорил начальник станции, будто гид перед туристами, гордившийся уникальными достопримечательностями своего родного города, но все слова начальника станции доходили до меня как сквозь подушку – глухой бубнеж, словно меня оглушили, и я только приходил в себя, выкарабкивался из бессознательного состояния и не мог сразу сообразить, что и зачем он говорит мне, когда самое важное в данную минуту вовсе не это, а следует просто помолчать и сосредоточиться, понять, что же, наконец, произошло со мной.

– Вот деревья, – донесся до меня сквозь копошащиеся в голове мысли его голос. – Видите, яблони, – он наклонился и освободил ствол яблони у основания от степной колючки. Кстати, полюбуйтесь, вот эти колючки – их здесь в огромном количестве – наше спасение: зимой в печи дают отличный жар лучше всяких дров. А тут у нас... – я следовал за ним, отупело глядя на то, что он показывал, переводя взгляд на его шевелящиеся губы, не понимая ни слова, слушал звуки его голоса, различал в них напряженную неприязнь, и все никак не мог собраться с мыслями.

– Нет, не может быть, чтобы не пришел поезд, – внезапно пробормотал я вслух.

Он замолчал, поглядел на меня и отвел взгляд, но дальше говорить уже не стал.

Весь остаток этого дня и вечер я был как в бредовом сне, все вокруг казалось мне нереальным, и действительность была на самом деле невероятной. Это впечатление усилилось, когда я вышел побродить в степи близ станции, чтобы в одиночестве обдумать свое положение, и, подняв голову к небу, вдруг почувствовал, что в небе что-то нехорошо. Я подумал: что же мне не понравилось, что ТАК насторожило, и почти тут же пронзило меня – в небе далеко вокруг, насколько охватывал взгляд, не было ни одной птицы. Ни единой птицы, что само по себе было невероятным, неестественным для меня, привыкшего, что что-то летает, парит, прочерчивает, оживляет небо. Мне стало жутковато.

Я обдумывал свое положение, и чем больше я думал, тем невероятнее казалось мне оно; до того невероятное было положение, что нельзя было верить ни одной минуте, ни одному мгновению этой действительности; я пребывал словно в бреду, в болезни. В своей каморке я долго вышагивал из угла в угол, с непривычки поначалу часто ударяясь о предметы, постоянно на что-то натыкаясь в невообразимой тесноте и полутьме. Как выяснилось, свет тут был только дневным и из печей, с темнотой жизнь в Доме замирала. Устав вышагивать и ударяться, я сел за стол наподобие табуретки и обхватил руками гудящую от усталости голову. Так я и сидел, когда дверь тихонько открылась и вошла дочь начальника станции. Тогда вдруг я сообразил, что во всем Доме (что ж, буду называть пока эту станцию Домом, как все они называют ее Домом с большой буквы; буду называть, как они, ведь теперь я один из них, хотя все мое существо яростно противится такому не заслуженному плену) была невероятная тишина (такая тишина, наверное, могла бы быть на старинном паруснике в открытом море во время ночного штиля, на корабле, который таинственно покинула команда). Но почему же в таком случае я не слышал скрипа половиц под ее шагами, почему не скрипели деревянные ступени, когда она сюда поднималась? Она притворила за собой дверь, подошла ко мне и молча стала разглядывать меня, да так, будто темнота вовсе не была ей помехой. Разглядывала она меня долго, как интересный музейный экспонат, будто я и не живой был, будто я и сам не разглядывал ее с живейшим интересом, насколько для подобного интереса оставалось у меня сил после всех сегодняшних потрясений. А живейший интерес она вызывала потому, что все мои мысли теперь работали в одном направлении – а что если, хоть это и нереально, она принесла мне нежданное спасение и может направить меня по верному пути, который выведет меня из этого бредового кошмара?

– Что? – тихо, с надеждой спросил я, когда молчание слишком уж затянулось, а прерывать его первой она, как я видел, не собиралась. – Что?

– Я пришла сказать вам, – почти шепотом проговорила она, – чтобы вы остерегались этих людей.

– Этих людей? – не понял я. – Кого именно?

– Их всех, – ответила она. – Но больше всех, пожалуй, остерегайтесь буфетчицы.

– Не понимаю...

– Она часто готовит и может подсыпать яду в вашу порцию.

Прямолинейность ее была непривычной, но в дальнейшем я ту же черту при разговоре заметил почти у всех обитателей Дома; очевидно, за долгие годы, что провели они вне общества людей, они отвыкли начинать разговор издалека и пускаться на какие-то маленькие хитрости с собеседником, а прямо переходили к сути дела; именно то говорили, ради чего открыли рот, без всякого рода предисловий, приличия ради. Все еще плохо соображая, одержимый мыслью, как бы поскорее отсюда выбраться, я не очень вникал в ее слова, тем не менее, даже при не очень внимательном отношении слова ее не могли оставить меня равнодушным.

– Зачем это им понадобилось – убивать меня? – спросил я довольно вяло, чему был рад: пусть она не подозревает, что жизнь мне очень уж дорога, тогда, может, и отнимать ее у меня им будет не так интересно, пусть не думает обо мне, как о трусе. – Я пока ничего плохого им не сделал.

– Вы человек из другого мира, – не сразу ответила она. – Вы не дадите нам спокойно жить. А мы ведь только недавно привыкли к своему положению. Несколько лет назад, всего лишь несколько лет, мы все – да, почти все из нас – делали все возможное, чтобы вместе ли, в одиночку ли – покинуть Городок...

– Городок? – вскинулся я. – Вы сказали Городок или мне послышалось?

– Почему вас это удивляет? Я так сказала потому, что все люди оттуда называют это место Городком, а вы ведь как раз оттуда. Мне хотелось сказать так, чтобы вам стало приятно...

– Приятно, – повторил я и хмыкнул, вспомнив: – Так говорила проводница в нашем вагоне: Городок. Попадись она мне, я бы в куски разорвал эту вонючку!..

– Не повышайте голос, – таким же ровным, бесстрастным шепотом, каким говорила на протяжении всего нашего разговора, произнесла она. – Нас могут подслушивать.

– Что? – невольно тоже понизив голос до шепота, спросил я. – Подслушивать?

Я сделал непроизвольное движение, чтобы подняться и подойти к двери, но ее предупреждающий, резкий жест остановил меня. В тот же миг мне почудилось, что половицы в коридоре рядом с моей дверью скрипнули, и затем скрип более отчетливый раздался где-то, надо полагать, на ступени лестницы.

– Не надо ничего проверять, – прошептала она. – Просто говорите так же тихо, как я.

– Хорошо, – подчеркнуто тихо, будто желая продемонстрировать ей свою покладистость, согласился я. – Извините, мне некуда посадить вас. Если хотите, можете сесть на кровать.

– Хорошо, – сказала она и уселась в ногах кровати. – Вам, должно быть, многое еще покажется у нас странным.

– Да, наверно... – пробормотал я и спросил о том, что сейчас все остальные мои проблемы отодвигало на задний план: – Почему вы уверены, что меня захотят убить?

– Я не говорила, что уверена, но это не исключено, – ответила она после паузы, задумчиво. – Вы не дадите нам жить спокойно, будете стремиться убежать, будете возвращаться больной и истерзанной, потому что убежать отсюда невозможно. А больной человек в наших условиях – это огромная помеха, масса хлопот, мы все выбьемся из колеи, а нас едва-едва хватает, чтобы прокормиться и не умереть с голоду. Больной – это большая обуза. Еще большая обуза – беспокойный человек. Вы будете будоражить нашу память, напоминать нам о том, что мы тоже были такими. Ведь захотите убежать, верно'?

– Верно. А вы, значит, тоже считаете, что это бесполезно?

– Я не считаю, я уверена, – сказала она. – Убежать можно из тюрьмы, а тут такая воля, что дальше некуда... Разве можно убежать из воли? – попыталась сострить она, но мне было не до ее шуток, я оставался мрачен, и она, заметив это, продолжила еще более серьезным тоном, если только у шепота может быть какой-то тон (но они, видно, привыкли в темноте говорить шепотом и умели придавать своему шепоту различные оттенки: как обычным людям слышится улыбка в голосе, так у них была, вполне возможно, улыбка в шепоте). – Поверьте, все, что можно испробовать за эти годы, чтобы покинуть Дом, мы испробовали, и, как видите – все мы здесь. Ничего нельзя поделать...

– Но этого не может быть! Этого не может быть! Поезд должен прийти! Я все время, каждую минуту жду его, напрягаю слух, напрягаю душу...

– Не кричите. Успокойтесь. И не напрягайтесь зря... – она помолчала, потом продолжила вполне благожелательным тоном, – здесь для вас откроется еще масса невероятных вещей, к которым мы уже давно привыкли. Отнеситесь к ним спокойно – мой вам совет. Вам тоже предстоит ко многому привыкнуть...

– Нет, – в бешенстве произнес я и даже, кажется, зубами скрипнул. – Ничего мне не предстоит здесь! Я уйду, уйду, уйду! Убегу отсюда! Убегу!

Она некоторое время молча разглядывала меня, как смотрят на несмышленную зверушку, стремящуюся выкарабкаться из ямы с отвесными стенками, что явно ей не под силу и что понимают все, кроме самой маленькой зверушки, попавшей в беду.

– Я пришла только предупредить вас, – спокойно прошептала она и поднялась, чтобы уходить, – не надо тревожить остальных. Это опасно. Хотя мы и привыкли к своему положению, но ваше чудовищное – я не найду другого слова – чудовищное ваше появление здесь может кое-кого из нас выбить из привычной колеи. Раньше – через год-два-три после своего попадания сюда – после того, как мы поняли свое истинное положение, мы все часто болели нервными болезнями, у нас были депрессии, и в довольно тяжелой форме; мы все прошли через это. Многие наши давно уже разучились улыбаться, да и к чему здесь улыбки... Мы изучили друг друга как самих себя... Мы едим, благодарим Бога за прожитый день и ложимся спать, входя в завтра, как в день вчерашний, потому что все наши дни похожи один на другой. Отец придумал меняться делами для разнообразия, но это помогло ненадолго; это маленькое разнообразие очень скоро было поглощено огромной монотонностью здешней жизни... Мы все ненавидели Дом, но за долгие годы ненависть эта незаметно превратилась в свою противополож-

ность; особенно проникаешься любовью к Дому, когда убегаешь из него и через несколько дней, полуживой, возвращаешься под его кров, где тебя поят, кормят и ухаживают за тобой, пока ты не придешь в себя и не поймешь, что ты все это время по ошибке ненавидел то, что Богом послано для твоей любви... Теперь мы любим и оберегаем свой Дом от всего, а пуще всего от такого невероятного вторжения, как ваше, которое и в голову никому здесь не могло прийти... Ну, ладно, заговорила я с вами... Я ухожу. Будьте осторожны, и если хотите остаться станьте одним из нас.

– Нет, – сказал я, – не смогу.

– Поначалу нам всем тоже так казалось, и мы придумывали невероятные вещи, чтобы убежать отсюда. Телеграфист однажды выдумал летательный аппарат, правда, не было никаких материалов, чтобы его изготовить, да и сомнительно все это... Вы ведь, наверно, уже заметили, здесь над Городком нет ни одной птицы... Куда лететь, даже если было бы на чем? Кругом степь, как океан... Кстати, советую вам, если не будет спокойно сидеться на месте, не уходите так далеко от Дома, чтобы потерять его из виду, вы можете заблудиться и погибнуть. Или берите с собой собаку... Хотя нет, она уже старая и тоже боится идти слишком далеко.

– Послушайте, но послушайте, – видя, что она собралась выходить из комнаты, я судорожно вцепился в ее руку и громко зашептал, – но ведь этого не может быть, просто не может быть, и вы... кто-то из вас знает, знает... Должен быть выход, вы знаете...

– Отпустите мою руку, мне больно, – зашептала она.

Я отпустил, неотрывно глядя в ее потускневшие глаза, будто собирался найти в них подтверждение тому, что она меня обманывает.

– Никакого выхода нет, – сказала она, потирая руку в том месте, куда только что впились мои пальцы. – А вы запомните, что я вам сказала. Это и будет ваш выход.

Она пошла к двери, осторожно толкнула ее, будто не в коридор выходила, а наоборот – из коридора в комнату, и боялась потревожить хозяина, и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Ночью я не мог заснуть, напряженно думал обо всех этих странных людях (у них даже разговор был непонятный, взять хотя бы дочь начальника станции: то она говорит, как провинциальная клуша, то вполне приличным литературным языком), о ситуации, в которую попал, и в то же время не переставая прислушиваться к посторонним звукам – а что если поезд прибудет ночью, а я его просплю, этого я боялся теперь больше всего на свете. И первое время, на протяжении многих дней и ночей, чем бы ни занимался, я постоянно ожидал звуков поезда, готовый даже к тому, что меня могут не впустить в него. Первую ночь в Доме я провел отвратительно, не мог заснуть, вернее, несмотря на крайнюю усталость, сам себе не давал спать, уверенный, что поезд непременно прибудет именно тогда, когда меня сморит сон. Я подошел к зарешеченному окну, посмотрел на близкие яркие звезды на небе, и вдруг пронзительно почувствовал свою оторванность от мира, от привычной среды, почувствовал, как многого мне здесь не хватает, например, в эту самую минуту, когда я стою у окна, – сигарет. Захотелось походить на воздухе, хотя бы пройти по платформе, но я не знал, как к этому отнесутся обитатели Дома, если среди ночи, вопреки

устоявшемуся правилу, я выйду на платформу и стану взад-вперед вышагивать по ней. Из окна я глянул вниз – прямо между рельсов на шпалах спала собака... Платформа, степь перед ней, небо, Дом со спящими обитателями – все казалось мне безжизненным и пустынным.

Утром я услышал резкий звон, идущий снизу. Оказалось, так здесь ссылают к завтраку. Когда я спустился вниз, все уже восседали (именно восседали; такой у них был важный, торжественный вид за столом, что никак ни про одного из них нельзя было сказать просто: сидели) за чисто выскобленным дощатым столом. На мое приветствие некоторые молча кивнули, остальные и это посчитали для меня недопустимой роскошью, видно, не хотели меня баловать своим вниманием с самого начала. На меня посматривали неодобрительно. Я сел на пустовавший стул, за пустой прибор – потрескавшаяся тарелка, кривая, изогнутая алюминиевая вилка с тремя зубцами вместо четырех, грубый стакан толстого стекла с обгрызенными краями. Я налил себе воды из графина, возвышавшегося на середине стола с важностью бутылки французского коньяка, и отпил полстакана; вода показалась мне очень вкусной.

– У нас не принято опаздывать к столу, – сказал вдруг начальник станции, нарушив глубокое молчание за столом. – Вы слышали сигнал? Он был достаточно громким.

– Да, – сказал я. – Но я не знал, что это такое. Впрочем, извините...

– Если хотите жить с нами, вам придется уважать наши правила и подчиняться им, – проговорил ТТ, но не так резко, как можно было ожидать от него, скорее назидательно.

Я молча посмотрел на него, ничего не ответил и принялся за еду. На столе были яйца, масло, сыр, хлеб, все это в очень ограниченном количестве; хлеба, например, я посмотрел, приходилось по одному кусочку на каждого. «Ничего, – подумал я, – жить можно». Вид стола несколько поднял мне дух, поднятию которого не способствовал пустой желудок. «Жить можно, – повторил я про себя с горечью, – но лучше – не нужно, деру надо давать отсюда, все они – помешанные, и не может быть, чтобы не нашлось никакого выхода, из любой ситуации можно найти выход, если спокойно подумать и приняться за дело умеючи, не жалея сил...»

– Вообще-то, у нас за столом не принято разговаривать во время еды, – услышал я вдруг голос начальника станции, прервавший мои мысли.

Я не сразу сообразил, что его слова относятся ко мне, но он смотрел на меня, а все молчали, выжидая, что я отвечу.

– Разве я что-то сказал? – спросил я с неприятным чувством, которое тут же оправдалось.

– Да. Вы громко бормотали, но слов я не разобрал, – сказал начальник.

«Слава богу, хоть слов не разобрал, – подумал я, – черт возьми, с каких это пор я стал думать вслух? Или уже впадаю в присущее им маразматическое состояние?...»

– Я похвалил воду, – не сразу нашелся я. – Очень вкусная. Кстати, откуда вы ее берете?

– Вы очень рассеянны, молодой человек, – заметил начальник станции, а мне вместо «молодой человек» слышалось «пассажир», как вчера он и обращался ко мне весь день; в тоне его слышалось и раздражение, и одновременно наро-

читаю терпеливость учителя, выговаривающего нерадивому ученику. – Вчера я вам показывал и подробно рассказывал о нашем хозяйстве, но вам, очевидно, было неинтересно. Я показывал вам и колодец. Тут до нас еще был вырыт колодец, он вышел на жилу, прекрасный источник и очень обильный. Без него никакая жизнь не была бы здесь возможна, сами понимаете... Кстати, сегодня вам как раз предстоит брать воду из колодца. Что касается всех остальных продуктов – они от коровы и кур. Вы их вчера, наверно, тоже не заметили... Коровы наша – потомок той, что давным-давно привезли сюда сторож и его жена на товарняке... Были у нас и бараны... Да... А теперь остались лишь свинья, боров и поросята... Мясо, сами понимаете, только по праздникам, точнее – когда у нас мясо к столу, тогда и праздник... Впрочем, я все это вам вчера показывал и рассказывал, – смутился он, заметив на себе взгляд жены, молчаливо упрекающий его за многословность. – Если нужна еще одна экскурсия, то, пожалуйста, на этот раз без меня, не смогу составить вам компанию... У нас каждый занят своим делом с утра до вечера. Кстати, когда закончите с колодцем, пойдете за солью, у нас соль кончается.

– За солью? – удивился я, и только тут обратил внимание на крохотную горку белого искристого порошка прямо на столешнице, без посуды.

– Да, – с плохо скрываемой гордостью произнес начальник. – Здесь недалеко есть маленькое месторождение пищевой соли, наземное... Набираешь там кристаллов, толчешь их – и готова соль. Когда у нас были бараны, мы приносили им эти кристаллы, так их оторвать нельзя было от соли, так любили, – он снова осекся под взглядом жены. – Что-то я разболтался сегодня, – смущенно покашляв, пробормотал он. – Да ведь понятно, не каждый день у нас за столом новый человек. Можно и поговорить один раз.

Завтрак мы закончили в молчании, после чего все поднялись из-за стола и разбрелись по своим делам, заранее распределенным. Я набрал из колодца воды, принес ее в закуток, огороженный в конце зала и служивший кухней, где хозяйничала буфетчица, бросавшая на меня неодобрительные взгляды, пока я таскал ей воду. В другой части вокзала, превращенной в нечто напоминающее хлев, была скотина. Когда я наливал воды свиньям в корыто, сюда вошел сторож.

– Сразу видно, вы человек городской, – сказал он. – Скотина уже давно поела. Чтобы ее поить, моя жена поднимается в пять утра.

– Я не знал, – сказал я. – Пойду за солью.

Он вышел вместе со мной.

– А чем вы их кормите? – спросил я отчасти из-за того, чтобы отвлечься от своей навязчивой мысли: даже отходя недалеко от платформы, я был начеку, в напряжении, изо всех сил прислушивался – как только услышу звуки приближающегося поезда, кинусь назад, к Дому.

– А чем придется, – ответил сторож, вовсе не заботясь тем, что слушал я его крайне рассеянно, – поросенка отрубями, корову травой, здесь ее достаточно, для кур у нас есть зерно, из которого вам предстоит муку молоть...

– Тут еще собака у вас, – напомнил я.

– Да, даем объедки, косточки, а в общем-то, святым духом питается, – ответил он. – Что ж поделаешь? Подохнет так подохнет, все равно пользы от нее – тыфу! Э, чего там... Главное – хлеб у нас есть... Сами растим, сами собираем, – в его голосе послышалась уже не раз слышанная мной при разговорах с начальником

станции гордость за плоды своего труда. – Хлеб и вода, а остальное приложится, а не приложится, тоже ладно будет. Хлеб и вода, слава Богу нашему, имеется... Да... Человеку мало надо... С возрастом, чем старше становишься, понимаешь это.

– Послушайте, – мы были недалеко от соляного месторождения, он взялся показать мне дорогу и уже тыкал в пространство перед собой пальцем, когда я, внезапно напугав его, схватил старика за плечо. – Вы все тут... Вы что, не хотите уходить отсюда? А? Вы что, с ума все посходили?... Что это за идиотизм – ваше натуральное хозяйство? Мы не в каменном веке... Зачем все это?... Разве вам не хочется к людям, к людям?! Этого не может быть, не может быть, чтобы не было никакого выхода!.. Вы сами, сами не хотите... Вы отвыкли от мира, вы боитесь... не хотите видеть никого, кроме себя!.. Жалкие идиоты! Кретины!.. – на меня вдруг нашло бешенство такой силы, что я не помнил себя, не соображал, что говорю, и только одно ощущал ясно до боли: абсурдность своего положения здесь, в отрыве от большого, настоящего мира, и страстное желание изменить это положение, вырваться отсюда.

Старик не на шутку перепугался, с трудом высвободил плечо из моих судорожно сведенных на нем пальцев, в страхе, торопливо отбежал на несколько шагов и испуганно стал наблюдать за мной с безопасного расстояния. Его неподдельный страх отрезвил меня, я постарался взять себя в руки, перевел дыхание и тихо сказал ему:

– Извините. Я не хотел...

Он осторожно подошел ко мне, будто все еще не веря, что я успокоился окончательно.

– Я могу вам дать добрый совет, – не сразу сказал сторож. – Если хотите, конечно. И если будете следовать моему доброму совету, – и так как я молчал, он спросил: – Хотите?

– Да, – устало произнес я, чувствуя, как в груди разгорается, но на этот раз гораздо слабее, чем прежде, умирающая надежда.

– Когда будете уходить, – сказал старик, – держитесь в виду Дома. Понимаете? Чтобы Дом все время был виден вам. Не то... вы можете пропасть.

– И вы о том же, – сказал я. – Ладно, я так и поступлю.

– Вот и хорошо, – удовлетворенно проговорил сторож и снова указал почерневшим пальцем на что-то впереди себя. – А соль, вон она, вон там... Видите? Ну и идите с богом.

Он повернулся и, не сказав больше ни слова, пошел к Дому. Закончив на сегодня свои дела, я пошел в степь. И ушел уже довольно далеко, все время, однако, оглядываясь, чтобы не потерять из виду Дом, когда услышал звон рельсы со стороны платформы, зовущей к обеду. Начало уже смеркаться, и степь лежала передо мной огромная, бескрайняя, совершенно без признаков каких-либо границ, без намека на то, что она хоть где-то кончается, разве что горизонт немного портил впечатление бескрайности, но его линия, разумеется, была обманчива и ничего, кроме линии горизонта, из себя не представляла... Безграничность этой степи была сродни безграничности океана, и стоило мне проникнуться этой мыслью, как я почувствовал мурашки на спине, сердце сжалось от тоски, от горя, от негодования на глупые, пошлые, слепые обстоятельства, приведшие меня к такому положению... Тут послышался повторный звон из Дома, и я со всех ног бросился к нему, но не потому, что боялся, что меня могут оставить без обеда, а потому,

что хорошо сознавал, насколько я переволновал их всех своими выходками, и не хотелось лишний раз досаждать обитателям Дома.

На этот раз я не опоздал. Все только готовились усесться за стол, и каждый бережно нес свою тарелку, а в руках у дочери начальника я увидел две тарелки, надо полагать, одна из них была моя. Увидев меня, подскочил ко мне ТТ, взволнованный, со взъерошенными волосами, и, теряясь, начал сбивчиво:

– Вы... Знаете ли, у меня, если можно... я хотел бы спросить...

Я внутренне напрягся, но, не желая показывать этого, равнодушно произнес:

– Пожалуйста.

Тогда он, воровато оглядываясь, вывел меня обратно на платформу, потому что в зале на нас моментально стали обращать внимание и смотрели с нескрываемым любопытством. Не переставая смущаться, он сказал:

– Видите ли, такая досада... Засело в голове, ничего не могу поделать с собой... Знаете, со мной это случается... А спросить не у кого. Вот я и подумал, может, вы знаете, подскажете...

– Да в чем дело? – спросил я нетерпеливо, боясь опоздать к столу и нарваться еще на одно замечание начальника станции. – Что вы так разговорились? На вас непохоже.

– Да вот, в голову заскочило, мучаюсь с утра. Только вы не смейтесь, пожалуйста... Обещайте, что не будете смеяться...

– Тут у вас мне вообще не до смеха. Говорите поскорей, что случилось.

– Ничего не случилось. А скажите – Копенгаген...

– Что – Копенгаген? – удивился я, стараясь, однако, не очень показывать свое удивление.

– Копенгаген – столица чего? – спросил он с таким видом, будто от моего ответа зависела его дальнейшая жизнь.

– Копенгаген? – я подозрительно посмотрел на него – уж не дурачит ли меня этот кретин. – По-моему, это столица Дании... Да, вроде так. Я, правда, не силен в географии... Только то, что со школы осталось.

– Ах, столица Дании! – несказанно обрадовался он. – Прекрасно. Спасибо. Вы очень меня выручили. Понимаете, застряло в мозгах, с утра места себе не нахожу... Мучаюсь, мучаюсь, мучаюсь, – сказал он так, будто перечислял дела, которые выполнял с утра.

– Бывает, – неохотно ответил я. – Ничего. Мы можем войти?

– А вот еще хотел бы спросить, если позволите.

– Да? – сказал я настороженно, уже не скрывая, что он мне надоел.

– Саскачеван. Тоже, знаете ли, засело в голове. Слово на слуху, что такое – не знаю, то есть знаю – столица, а чего? Не скажете?..

– По-моему, это похоже на экзамен, – сказал я, глядя ему в глаза.

– Что вы, что вы, боже упаси! – задохнулся он от обиды и возмущения. – Как можно, честное слово, честное...

– Ладно, ладно, верю, – прервал я его уверения. – Саскачеван, нет, это не столица. Кажется, это в Канаде... Вроде, местность так называется. Местность. Саскачеван. Или городок. А вам зачем все это?

– Да, видите ли, – вновь засуетился он, – засело в голове. Такой дурной характер, хожу целый день, как больной. Спасибо вам, выручили. Саскачеван – город в Канаде. Да. Вот именно. Саскачеван. Интересно, это далеко отсюда?

Я дико взглянул на него. Но он, уже узнав, что ему требовалось, всюю разговаривал сам с собой. Так и вошел в Дом, что-то бормоча под нос. Я вошел за ним и уселся на своё место, время от времени поглядывая на ТТ, как он рассеянно ел с тихой, удовлетворенной улыбкой идиота. Обед прошел в абсолютной тишине, разве что чавкания прерывали ее, да на сторожа вдруг напал неудержимый кашель, так что он даже вынужден был покинуть стол и выйти откашляться; на него никто не обратил внимания, все ели, уткнувшись в свои тарелки. За окнами почти совсем стемнело, а так как другого освещения, кроме языков огня из открытой дверцы печки, не было (огня, пожирающего степные колючки), то приходилось разбредаться по своим комнатам. Трудовой день завершался в Доме с наступлением темноты. Однако одна только мысль о том, что надо подняться наверх и засесть в жалкой отведенной мне каморке, была мне противна до тошноты. Я вышел на перрон. Почти тут же из Дома вышел сторож, подошел ко мне и проговорил:

– Мне тоже не спится так рано. Если вам скучно, мы могли бы развести костер.

– Костер? – удивился я.

– Да. Какое-никакое, а развлечение. Собаке это тоже нравится, – он кивком указал на лежавшую на платформе собаку, которой как раз в эту минуту буфетчица выносила жалкие остатки нашего ужина – не знаю уж какие, лично у меня никаких остатков не оставалось, самому не хватало, и я вечно испытывал чувство голода, вставал из-за стола полуголодным. Остатков для собаки, впрочем, было как раз столько, чтобы не подохнуть. То есть чуть меньше, чем полагалось нам самим. А наша порция была рассчитана на то, чтобы не протянуть ноги и одновременно иметь силы для работы.

С такими невеселыми мыслями в голове я машинально шагал за сторожем, и когда мы отошли в степь на достаточное, по его разумению, расстояние от Дома, он, собрав кучи степных сухих колючек, которых тут было великое множество (создавалось впечатление, что, сколько бы их ни собирали, колючек не убывало), стал высекать искру, ударяя двумя камешками друг о дружку, что для меня, городского жителя, привыкшего пользоваться спичками и зажигалкой, было в диковинку. Он подробно показал и объяснил, как высекается огонь, и даже дал попробовать мне самому, и я тут же несколько раз подряд высек искру – дело немудреное. От наших искр почти моментально полыхнул костерок, огонь занимался все шире, все выше, костер давал приличный жар, так что стоять близко к нему было опасно, можно было опалить лицо или одежду; мы отошли чуть в сторону и оба задумчиво уставились на огонь, не в силах оторвать взглядов от его причудливого танца под нарождающимися звездами. Вместе с тем, я чувствовал рядом с собой какое-то смутное движение, нечто нарастающее и, оторвав, наконец, взгляд от костра, осторожно повернул голову, словно от резкого моего движения это нечто могло разлететься. Я увидел за своей спиной все население Дома, все они стояли здесь: и начальник станции, и буфетчица, дочь начальника станции, и его жена, и жена сторожа, и, конечно же, ТТ, все стояли и пристально, как душевнобольные, смотрели на огонь с таким напряженным вниманием, будто пламя на одном только им известном языке сообщало важные, очень важные вещи, и надо было внимательно слушать, что говорит огонь, не упустить ни звука. Теперь уже я смотрел не отрываясь на их лица, и выражения этих лиц показались мне до того бессмысленными, до того явно проступала на них печать сумасшествия.

усугубляемая бликами неверного огня, что мне сделалось жутко; настолько жутко и страшно, что если б эта нечеловеческая тишина продолжилась еще немного, то я бы, наверное, не выдержал, закричал, бросился бы затапывать костер или сделал бы еще какую-нибудь глупость; но тут, тихо потрескивая, костер пошел на убыль, стал затухать, и напряженное ожидание чего-то непонятного среди присутствующих сдвинулось, люди вокруг меня зашевелились, будто ожили, задвигались, приходя в себя, лица стали немного осмысленнее, и все они, будто сделав какое-то важное дело, с удовлетворенным видом потянулись обратно, в Дом.

– Да, дорогой мой, – сказал, шагая рядом со мной, начальник станции. – Вы вот обещали продемонстрировать нам фокусы свои, забыли, да?.. Нам ведь здесь довольно скучно живется. Были бы вам очень, очень благодарны... – и, не дожидаясь моего ответа, он вдруг бойко обогнал меня и первым ступил на платформу, подобно ребенку среди резвящихся детей во вдруг возникших импровизированных догонялках.

Эту ночь я спал очень беспокойно, снилась всякая чертовщина, и я несколько раз просыпался с сильно бьющимся сердцем, шарил руками по полу в поисках несуществующих сигарет (старая привычка класть сигареты на пол возле постели), и не спал бы вовсе, если бы не крайняя утомленность, скопившаяся за прошлую бессонную ночь и два дня кошмарного пребывания на грани сна и яви, на грани нереальности, какой продолжала казаться мне здешняя действительность. К тому же подсознательно я напряженно ждал – не забывая ни на минуту – звуков поезда, который, как все здесь утверждали, мог прийти, когда ему вздумается, и, вопреки всем нормам здравого смысла, мог бы проскочить эту станцию, мог бы и вовсе не прийти, мог бы... Иногда мне казалось, что я близок к помешательству.

Утром, после завтрака, начальник станции уже от лица всех и более настойчиво повторил свою просьбу.

– Честно говоря, мне сейчас не до фокусов, – ответил я устало, весь разбитый после почти бессонной ночи.

– Но мы все так надеялись, что вы человек слова и сдержите свое обещание, – жеманно напомнила дочь начальника станции.

– Когда я обещал, была совсем другая ситуация и у меня другое настроение, – сказал я. – Тогда я еще сгоряча не разобрался, что со мной произошло, куда я попал...

– А куда вы попали? – обиженно спросила дочь начальника станции. – Вы попали к приличным людям, больше никуда.

– Не сомневаюсь, – сказал я. – Но, видите ли, чтобы показывать фокусы, мне нужно, по крайней мере, душевное равновесие, которого у меня сейчас нет, – я окинул взглядом их, с надеждой глядевших на меня. – Ну да ладно... Попробуем...

Они уселись обратно за стол, каждый на свое место, и с нескрываемым любопытством воззрились на меня. Я через силу показал им два-три простейших фокуса, основанных на элементарной ловкости и подвижности пальцев, что, впрочем, вызвало неподдельный восторг моих неискушенных зрителей; и на миг я почувствовал себя гостем и пленником дикого первобытного племени, коему я демонстрировал огонь из зажигалки, приводя все племя в содрогание и трепет

своим колдовством. Минут через десять, когда мне мои дешевые фокусы порядком надоели, начальник станции объявил вдруг представление законченным и попросил всех разойтись по своим делам. Может, единственный раз я был ему по-настоящему благодарен.

Мне предстояло натаскать воды из колодца для буфетчицы; она должна была мыть посуду, учитывая острый дефицит которой, эту операцию доверяли не каждому: и на самом деле, потрескавшиеся, с зазубренными краями тарелки, блюда и чашки, что говорится, на ладан дышали, и исхитриться помыть их, не сломав, было, конечно, делом не всякого. Я поливал ей на руки из ведра тонкой струей, а она, сидя на корточках, бережно и виртуозно мыла посуду, время от времени давая мне указания, чему я неукоснительно следовал, признавая ее авторитет в данном деле гораздо более солидным, чем мой собственный.

– Вы что это размечтались, – услышал я вдруг ее голос. – Не слышите?

– Что?

– Хватит лить, говорю, погодите, – повторила она еще раз с нотками нетерпения в голосе.

– А? Да, да, – спохватился я, прислушивавшийся к посторонним звукам, – извините...

– То-то... Извините... – недоброжелательно проворчала она. – Льет, когда не надо – извините, выходит из поезда, где не надо – извините, лезет в чужие жизни, до которых ему никакого дела нет – опять, значит, извините. Извините – и дело с концом, и все славно. Одно слово. Можно напакостить, а потом – извините, и все хорошо, – судя по излишне эмоциональному монологу, злость и антипатия ко мне копились в ней постепенно, час за часом, с тех пор, как я здесь появился.

– Мне иногда кажется, что все это дурной сон, – сказал я, – и надо только проснуться... Вот проснусь, и все кошмарное, мерзкое, липкое исчезнет: и этот Дом, и платформа, и степь, и вы все растворитесь, как призраки, как тени... – я помолчал, посмотрел на нее. – Я ведь ничего вам не сделал. Не понимаю, за что вы меня так ненавидите...

– Не сделал, – передразнила она меня и тут же перешла на свой обычный озлобленный тон. – Нет, сделал. Еще как сделал. Напакостил, даже сам не знаешь, как напакостил...

– Да когда я вам напакостил, что вы такое плетете? – возмутился я искренне, не понимая, что этой маньячке нужно от меня.

Она запнулась вдруг, помолчала, опасно теребя в руках полуразвалившуюся от трещин, почти прозрачную фарфоровую чашку. Потом неохотно, тихо, будто через силу, и совсем другим тоном проговорила:

– Вы разрушили мне жизнь.

Мне – уже в который раз после того как я попал в Дом – показалось, что я ослышался.

– Что? Что вы сказали?

– Да, да, – страстно, но негромко произнесла она. – И не делайте вид, что не понимаете.

– Но... – был в крайнем замешательстве, растерянности (впрочем, в этом состоянии я пребывал с того самого момента, как неосмотрительно ступил на проклятую платформу проклятого этого вокзала), но тут к обычной моей растерянности примешивалось явное непонимание, чего она так добивается от меня.

что хочет. – Я в самом деле не понимаю, клянусь, клянусь вам. Будьте добры, объясните толком – каким образом я ухитрился испортить вам жизнь?

Она ответила не сразу, сначала оставила в покое чашку, осторожно собрала тарелки на край платформы, возле которой мы с ней мыли посуду, и только потом – с таким видом, будто объясняла ребенку очевидные вещи, – произнесла:

– Вы за что-то невзлюбили телеграфиста... – она вдруг замолчала.

– Я его невзлюбил? Даже если это и так, то вполне взаимно. Он тоже не страдает от привязанности ко мне.

– Предупреждаю, не говорите при мне о нем плохо, – резко произнесла она, гневно сверкнув на меня глазами.

– Ладно, – сказал я, – не буду.

– Он замечательный человек, – продолжила она. – И всегда, что бы ни случилось, я буду его любить.

– Понятно, – сказал я, потому что она опять замолчала; просто сказал, чтобы нарушить паузу, только лишь; потому что как раз таки мне была непонятна манера обитателей Дома вести разговор в таком потрясающе откровенном ключе с самого почти первого слова; это напоминало манеру общения детей.

– Э, – она вяло махнула рукой. – Что вам может быть понятно? Я так сильно, так нежно люблю его, мои сны полны им, его ласками, его словами, которые он никогда не говорил мне... А он... Он – нет... Он любит эту... эту образину, эту вешалку с паклей вместо волос, эту дохлую, облезлую обезьяну...

– Простите, вы имеете в виду дочь начальника станции? – постарался уточнить я, посчитав, что эпитетов уже было больше чем достаточно для одного человека.

– Да. Именно ее, – сквозь зубы процедила с ненавистью буфетчица и опять замолчала, глядя в степь.

– Но позвольте, в таком случае, при чем тут я?

– При том, что вы приехали, – ответила она.

– Да, но об этом уже поздно говорить. Больше всех сожалею об этом я сам. Но дело сделано.

– Когда вас не было, все было спокойно. Он любил ее, я любила его, и в своем отвергнутом чувстве находила наслаждение, понимаете, наслаждалась своим страданием, оттого, что мой любимый любит другую. Это ни с чем не сравнимое чувство. А вы его у меня отняли.

Сногшибательная откровенность, папахивающая, однако, мазохизмом. Она опять надолго замолчала (к этим людям требовался особый подход и понимание), я вынужден был дать знать о своем существовании.

– Ну и что же? – осторожно начал я. – Что тут я могу?..

– Теперь появились вы, – сказала она. – И я буду выглядеть смешной, если по-прежнему буду жить в своем страдании. Мне попросту не поверят.

– Почему? – спросил я.

Она взглянула на меня, как на недоумка.

– Почему, почему, – вздохнула она. – Потому, что сейчас вы займете его место, должны занять его место в моем сердце. Все уже и так связывают мое имя с вашим. Кому я теперь могу доказать, что, как и до вас, люблю его, только его? Кому, если появились вы?! Кто мне поверит? Вы все у меня отняли, все, чем я жила до сих пор. Я ненавижу вас...

Я ошарашенно поглядел на эту пятидесятилетнюю (по крайней мере, на вид ей нельзя было дать меньше) женщину, и мне сделалось смешно и мерзко одновременно.

– Вы, – не сразу нашелся я. – Вы простите, но это бред какой-то... Это, черт знает... Вы прежде, чем отводить мне какую-то роль и, так сказать, место в сердце, хотя бы дали мне знать сначала...

– Какое это имеет значение здесь? – сказала она, и поначалу я не вник и не очень серьезно воспринял ее слова. – Скоро все станет на свои места. Это не я вам отвожу роль, это так и будет, увидите...

Я, не находя слов, смотрел на нее, лихорадочно соображая, стоит ли вообще реагировать на сказанное, ведь уже не секрет, что все они тут тронутые, чокнутые, тихо помешанные, с-с-суки... Тем не менее, чувствовал я себя отвратительно после нашего разговора; выходило, что любой из них теперь мог решать за меня, отводить мне какое-то место, какую-то роль, даже не удосужившись поставить в известность меня самого... Что же это, черт побери, получается?..

Тихо, расслабленно ступая на неверных лапах, подошла собака и устало воззрилась на буфетчицу.

– Что тебе? – спросила она собаку, как спросила бы человека. Точно таким тоном обратилась к собаке, как перед тем говорила со мной.

Собака молча смотрела на нее, тяжело дыша и высунув язык.

– Что тебе? – повторно спросила она.

– Вы полагаете, что она должна ответить? – спросил я.

– Нечего острить, – проговорила буфетчица. – Вы меня поставили в такое положение, что нечего вам острить.

– Ну, думаю, самое незавидное положение тут у меня. Самое незавидное среди вас всех. Не исключая и собаки. Кстати, как ее зовут?

– Просто собака.

– Просто собака?

– А что вы удивляетесь? Тут же нет второй собаки, чтобы перепутать их. Зачем ей имя, если она одна собака?

– Что ж, верно, – сказал я. – Впрочем, я ваших имен не знаю, так что, на этом фоне всеобщего незнания, не знать кличку собаки, сами понимаете, не столь важно...

– Ни к чему вам наши имена. Мы и сами, кажется, уже забыли почти. Никто здесь никого не называет по имени. Просто не бывает необходимости. А тем более собаку.

Смешно.

– Да это я так спросил. Зачем мне, как ее зовут... А как она тут появилась?

– Несколько лет назад выбросили из окна поезда. Поезд промчался на полной скорости, а из окна вдруг вылетел щенок и шмякнулся на платформу. Люди такие жестокие, – сказала она, и меня поразило в тоне последней ее фразы то, что будто она не причисляет себя к людям, о которых только что упомянула, будто считает себя иным существом. – Теперь собака уже старая, – продолжила она, – скоро, наверно, кончит жить. Старая уже...

Она поднялась по ступеням на платформу, медленно, бережно собрала посуду и вошла в Дом, оставив меня в крайнем замешательстве после своих слов. Несмотря даже на то, что я постарался немного разговорить ее на посторонние темы:

о собаке заставил поговорить, в надежде, что то, что она сообщила мне, очень похожее на бред, внезапно рассеется; она же сама признает, если поговорить с ней душевно, что пошутила, что хотела развеселить нас обоих несколько пряной, круто замешанной шуткой. Но все было опять же реально, слишком реально – степь, солнце, каменная платформа, собака, нерешительно, с видом теленка стоявшая рядом, боль от щипков моих ногтей и посиневшая тыльная сторона ладони левой руки – все было реально, но именно той реальностью, которая способна свести с ума нормального человека, абсолютно не предрасположенного к психическим аномалиям. Я смотрел вслед буфетчице, скрывшейся за узкой дверью Дома, и старался припомнить, какой сегодня день недели, какое число какого месяца, какой год и в какой стране я нахожусь. Пока удалось все, кроме дня недели.

Примерно через месяц, когда мне стало неважно, я пришел ночью к ней, и она молча приняла меня в своей камере, не удивившись, будто ждала и была уверена, что я приду. Я старался убедить себя, что все это какой-то временный кошмар, что все пройдет, пусть только придет поезд, и я уеду и снова заживу нормальной жизнью среди людей, а не этих странных, непонятных существ, но продолжал время от времени посещать одинокую буфетчицу, принимавшую мои визиты без ропота, как должное, и однажды я вспомнил ее слова, что сказала она мне возле платформы: «Это не я отвожу вам роль, это так и будет...», которые тогда не доходили по-настоящему до моего сознания.

В течение двух месяцев я предпринимал немало попыток установить контакт с внешним, отринувшим нас миром, но мне не хватало смелости уйти далеко от Дома, как уходил покойный сын сторожа. Да к тому же я боялся, что в мое отсутствие может прийти поезд, и я не успею добежать до него. Камней в степи не было, одни сухие, рассыпавшиеся комья земли, и мои попытки помечать пройденный путь хоть какими-нибудь ориентирами не увенчались успехом; я даже придумал помечать пройденное расстояние мотками сухой колючки, чтобы по ним можно было вернуться назад, но почти постоянно дувший в этих местах слабый ветерок уносил аккуратно уложенные мной колючки. За этими моими ухищрениями, оторвавшись от своих дел, не раз наблюдали обитатели Дома, стоя на платформе и передавая друг другу большой полевой бинокль, наблюдали равнодушно, с бесстрастным интересом, как наблюдает мальчишка ползущую по земле гусеницу, не мешая ей; но я замечал их на платформе и меня очень раздражало их далекое присутствие. Однажды я попросил у начальника станции бинокль, но, вопреки моим ожиданиям, оказалось, что бинокль принадлежит не ему, а ТТ. Он вызвался попросить для меня, если мне самому не хочется одалживаться у ТТ, и на следующий день вручил мне мощный, старый бинокль с облупившимся корпусом, даже не поинтересовавшись, зачем он мне понадобился. Я поблагодарил, взял бинокль и пошел в степь. Когда я отошел настолько, что Дом даже через бинокль превратился в еле различимую точку, я, напрягая изо всех сил зрение и настроив бинокль на наибольшую дальность, стал обозревать степь перед собой. Мне сделалось страшно. Степь и в самом деле напоминала безбрежный океан, куда ни посмотришь – однообразная сухая земля, даже цвет ее был один и тот же, что вдаль, что вблизи: серовато-коричневый. Дрожь пробежала у меня по спине, ноги вдруг ослабли, обмякли, началась забытая боль в сердце, я опустился на землю, сел, чтобы отдышаться, боясь еще раз взглянуть вокруг себя, вытер вспотевший лоб.

Я долго ходил, и с непривычки ноги болели, прямо-таки гудели от усталости и напряжения, но то, что я увидел через мощный бинокль, подкосило мои силы, степь, огромная, безграничная будто проглотила меня; появилось такое ощущение, словно вся земля, вся планета состоит из этой степи, похожей на карающее божество, но карающее за что, за что, за что, Боже, что я сделал? Я попытался вспомнить, много ли тяжелых грехов совершил за свою жизнь, и не мог... Были так себе, обычные, незаметные в обыденной жизни грешки, опутавшие мелкой сетью меня среди мне подобных... Да и разве это можно было назвать грехами? Все это было нормальным образом жизни там, откуда я приехал. Это только в степи безграничной, под небом единым, бескрайним можно было воспринимать их как грехи в полном понимании слова. Вот земля, иди по ней и никуда не придешь, а вот небо – кричи в него, ори во все горло, никто не отзовется, и можешь – живи, не можешь – ложись, помирай, и грехи были, были, и нет одного греха среди людей, а другого в безлюдье, грех он грех и есть, один и тот же перед Богом, и надо расплачиваться, рано или поздно приходит пора расплаты. Я стал вспоминать, что хорошего сделал, и тоже, как и грехи, вспомнил всякую мелочь, размазную незапоминающуюся, а большого, на всю жизнь, нет, не было такого. И снова небо сверху слепо глядело на меня, а земля приглашала жить на ней так, как смогу. Никто не заступится, никто не поможет здесь, Боже, думал я, лежа на земле и прислушиваясь к ее глухому, далекому ворчанию: гомон голосов, крики, сливающиеся в неясный, утробный гул, крики, застрявшие в ней, гул огромного количества – как звезд на небе – людских вопящих судеб, ушедших в землю со своими грехами и своими добрыми делами... Тут звезды стали появляться на потемневшем небе.

Я поднялся на ноги и пошел, шатаясь, в сторону Дома. Голова гудела, ломило в висках, – но никаких мыслей не было и быть не могло, потому что степь убила все здравые мысли, что прежде приходили в голову; абсурдность степи перечеркнула всякую логику, которой мог бы руководствоваться и опираться на которую мог бы человек в начинающемся безумии. Нет, нет, подальше отсюда, скорее в Дом, в свою каморку, или еще лучше – к буфетчице, поскорее зарыться в ее рыхлое тело и ни о чем не думать, ни о чем не думать, не думать.

Когда Дом в бинокль стал отчетливо виден, уже почти стемнело, и в окнах первого этажа колебалось неверное пламя из печи. И тут в темноте, подходя к Дому, я увидел тот самый призрачный Городок, что видел из окна вагона. Страх охватил меня, жуткий, нечеловеческий, потусторонний страх. Я стал как вкопанный (старое, но как нельзя более подходящее выражение именно для меня, стоящего на земле степи), замороженно, затаив дыхание, глядя на мигающие, живые, наполненные жизнью людей огни Городка, что раскинулся сразу же за станцией. Но стоило мне прийти в себя и пройти еще примерно с километр в направлении Дома, как этот оптический обман коварной степной ночи истаял, словно иллюзия, а еще лучше – привидение, поскольку Городок прикинулся живым существом, заполненным предполагаемыми обитателями. Я долго тупо смотрел, взобравшись на платформу станции, на то место, где совсем недавно перемигивал веселыми огнями людских жилищ яркий, вселяющий надежду Городок. Место было пусто. Мрак, ночь, неизвестность были вместо Городка...

Дни и ночи складывались в недели, недели – в месяцы, но для меня каждый из этих долгих месяцев состоял не из дней и недель, а из минут и мгновений, по-

тому что каждую минуту и каждое мгновение я жил только одним – ожиданием Поезда...

Как-то ночью, обессиленный, я впал в забытие и мне привиделись лица друзей, родных и знакомых, оставленных в том мире, куда я стремился всей душой, как утопающий, завязший в болоте, рвется изо всех сил дотянуться до ветки дерева, равнодушно застывшей в полуметре от его судорожно вытянутой руки... Я так отчетливо видел эти дорогие мне лица, общество которых не ценил в свое время так грустно было мое видение, что, кажется, я заплакал во сне; во всяком случае, сквозь чуткое забытие я ощутил вдруг мокрую подушку, холодившую щеку, и на миг очнулся; но усталость взяла свое, и я вновь уснул и видел теперь степь, залитую солнцем, безжизненную, озаренную, дневную, но почему-то еще более страшную, чем во мраке; видимо, оттого, что так же, как и ночью, солнечная степь могла означать лишь одно – смерть, и светлый, радостный вид ее был обманчивой, коварной маской улыбающейся феи на отвратительном лице вампира. Подняв голову, я обнаружил в небе над степью два солнца, светивших всюду недалеко друг от друга. Я ужаснулся и упал как подкошенный, теряя сознание, и тут, случайно припав ухом к земле, я услышал звуки, идущие из чрева степи, гул голосов; хаос звуков не устал напоминать мне о моем временном пребывании на поверхности земли, на поверхности степи, и что настоящее мое место – там, под землей, под степью, глубоко, глубоко, откуда все отчетливее слышался гул голосов; все слышнее гул, звуки неразборчивые, крики, стуки, будто все подземное царство сошло с ума и пустилось в дикий, безумный пляс под землей, под степью... Визги, вой, крики, все стучат, стучат, стучат... Стук! Что это за стук?! Я мгновенно проснулся, сел в кровати. Стук. Все слышнее, все явственнее. И крик. Вот еще крикнул кто-то. Нет, мне не снится, я уже не сплю. Крик! Зовут меня! Меня! Я подскочил с кровати, кинулся к окну, глянул вниз: кричал начальник станции, задрал голову и глядя на мое окно, а возле него стояли все обитатели Дома, кое-как одетые, чем-то неожиданно поднятые с постели... И тут... Я увидел стремительно приближающиеся к станции огни, два огромных огня – глаза дракона – и услышал уже четкий стук... стук колес по рельсам... Поезд! Поезд!! Кажется, я закричал... Бросился, в чем спал, вон из комнаты, чуть не выбив дверь с петель, подвернул ногу и упал с лестницы, покатился до пола, тут же резво вскочил и чуть не взвыл от дикой боли в щиколотке, но сразу же забыв о боли, сжав зубы, проскакал, хромая, и, наконец, вырвался на платформу. Далеко впереди светились два красных сигнальных огонька в ночи, огни под крышей последнего вагона, стремительно удалявшиеся от меня, от меня, от меня, стремительно удалявшиеся от меня, от меня, стремительно удалявшиеся от меня, стремительно удалявшиеся...

– Как же?! Как же?! – только и смог выговорить я, протягивая руку в сторону промелькнувшего поезда.

– Не остановился, – сказал начальник станции.

– Промчался, как сумасшедший, – сказала дочь начальника станции.

– Это бывает, – сказал сторож. – Не впервой...

– Ну и черт с ним! – сказала буфетчица.

Я стоял на платформе, все еще протягивая руку в сторону умчавшегося поезда, пронесшегося, как призрак, поезда, уносившего мои надежды за эти долгие месяцы, уносившего мое колотящееся о ребра больное сердце, уносившего мою жизнь и оставлявшего здесь, на станции, мой труп среди этих трупов. Отчаянье

ударило мне в сердце, в мозг, в ноги, я упал на колени и, продолжая указывать в сторону ускользнувшего, как тень, поезда, невидимого уже и неслышимого поезда, продолжая жестом нищего протягивать к нему руку, неожиданно исторгнул всей грудью, всем существом своим вопль, звериный вопль отчаянья.

– А-а-а-а-а-а-!..

Обитатели Дома молча наблюдали за этой моей агонией и, ни слова не говоря, разбрелись по своим каморкам (по своим жалким каморкам! переделанным из касс в зале ожидания! из служебных помещений! из комнаты матери и ребенка! из медпункта! из буфета! из кухни! из всего, всего, из всякой нечеловеческой, вокзальной дряни! и перегороденных картонами, фанерой, ширмочками и всякой соответствующей дрянью! при одном воспоминании обо всем этом жить не хочется!..). Я в полубессознательном состоянии повалился на платформу и так пролежал на ней до утра.

Утром, когда я пришел в себя, обнаружил, что вывихнутая нога моя невероятно распухла в щиколотке, и следующие две недели я провел в постели с холодным компрессом, туго стянутым на ноге. Первые дни я пробовал вставать, держась за стены, но стоило мне ступить на поврежденную ногу, как резкая боль понижала меня всего от пяток до головы. Лежать и ничего не делать было мучительно стыдно, потому что за меня работали и меня кормили обитатели Дома. Есть мне в комнату навверх приносила то буфетчица, то жена сторожа, то жена начальника станции, которая будто намеренно избегала разговоров со мной, не могу догадаться почему; может, оттого просто, что она по натуре своей была неразговорчива и за месяцы моего пребывания в Доме не сказала мне ничего, кроме «Доброе утро» и «Здравствуйте»; в этом, я полагал, было что-то ненормальное, если не было никакой видимой причины так ей вести себя со мной (я, со своей стороны, общаясь – худо-бедно – со всеми обитателями Дома, поначалу предпринимал попытки заговорить и с ней, но это ни к чему не приводило). Одним словом, приносил еду в мою каморку тот, кто не был занят в данный момент, и однажды зашла дочь начальника станции.

– Я принесла вам суп, – сказала она, войдя.

– Спасибо, – сказал я. – Оставьте на столе, я уже могу вставать.

– Ничего, у меня есть время, – сказала она, и я уловил в ее тоне обиженные нотки. – Или вы предпочитаете, чтобы за вами ухаживала исключительно буфетчица?

– С чего вы взяли? – удивился я. – Мне просто не хочется быть обузой... И... и вообще, у вас такой обиженный голос... Я не понимаю.

– Держите голову прямо, – проговорила она все таким же обиженным тоном, придерживая бережно тарелку у моей груди и поднося к моим губам ложку; и после затянувшейся паузы, когда скормила мне подряд несколько ложек супа, она запоздало и туманно ответила на мой вопрос: – Чтобы понять, надо уметь видеть хотя бы чуть дальше своего носа...

– Что? – я чуть не поперхнулся очередной ложкой супа, стал лихорадочно соображать, что она может иметь в виду, терялся в догадках. – Что вы имеете в виду? – спросил я в крайнем недоумении.

Она молча приложила палец к губам, скосив глаза на дверь, возле которой, похоже, кто-то возился: слышался тихий скрип половиц, будто кто-то осторожно переступал в коридоре с ноги на ногу.

Мы и так, как обычно в «комнатах» Дома, говорили шепотом, но, видимо, эта мера предосторожности была недостаточной.

– Что вы имеете в виду? – повторил я свой вопрос еще тише прежнего.

– Я имею в виду, что надо... – с горечью прошептала она, – надо, чтобы у человека было сердце, чтобы замечать, как по нему страдает другой человек... Разве она вам пара?... Разве вы не видите, что уже видят все – что я не могу без вас?... Бог ты мой, до чего же вы слепы!..

Я обомлел. Вот оно что!.. Видно, и этот крохотный, обособленный мирок обитателей Дома не может обойтись без пошлых схем человеческих отношений, заимствуя их у большого, покинутого, но не забытого мира, подражая ему в стремлении усложнить простые отношения, нарушить спокойное течение жизни... Что я мог ей сказать, если только и делал, что старался прийти в себя после ее заявления, произведшего на меня шоковое впечатление?..

– Не знаю, что вам сказать... – честно признался я. – Для меня это так неожиданно... Да... Но как же ваш ТТ?

У меня чуть было не вырвалось признание, что они даже внешне похожи друг на друга, что случается с супругами после длительной совместной жизни, но вовремя сдержался: сейчас это было бы явно некстати.

– ТТ? – удивилась она. – Что такое ТТ?

– А... это... это я так назвал его про себя, – пояснил я, думая, как бы загладить свою оплошность. – Для удобства. Короче. Сокращенно.

– И что это означает? – поинтересовалась она.

– Означает? – я задумался. – Талантливый телеграфист – вот что.

– Вряд ли это так, – сказала она. – Это было бы слишком приятно для него, чтобы быть правдой, а, угадала? Хи-хи-хи, – тихо захихикала она, явно стараясь пококетничать, что вовсе не шло ей с ее неухоженной, невзрачной внешностью. – А меня вы тоже как-то прозвали? Надеюсь, это не обидное прозвище...

– Что вы, – сказал я, глядя на нее. Все же, что ни говори, перед буфетчицей у нее было одно, но явное преимущество: молодость, и я чуть было не клонул на это, с другой стороны, еще и потому, чтобы попутно утереть нос ТТ, но вовремя остановился; что же, если я буду соответствовать всей этой чепухе? Ведь это означает, что рано или поздно я в самом деле стану одним из них, захочу, чего доброго, пустить тут корни, стану участвовать в любовных интрижках, навязываемых мне, стану одним из углов любовного треугольника, во что им захотелось поиграть, подражая тому, большому миру; и в конце концов забуду, что жизнь, настоящая жизнь не здесь, а там, откуда приехал, хоть она, эта жизнь, временами и надоедает до судорог, но тем не менее – прекрасна, и мир тот прекрасен, и мне не жить без него. Все это мгновенно мелькнуло в моем сознании; и, видимо, то ли что-то новое, отталкивающее прочитала она в выражении моего лица, то ли вспугнул ее очередной слишком на этот раз громкий скрип половиц за дверью, но она, уже успевшая скормить мне всю тарелку супа, вдруг резко поднялась с краю кровати, на которой сидела, и, не говоря ни слова и ни разу не обернувшись, пошла к двери, намеренно громко стуча башмаками по полу. Шаги за дверью сразу же закрипели на ступенях лестницы, с которой я так неудачно полетел. Дочь начальника станции ушла, а я, вспомнив лестницу, как каждый раз за эти дни бывало, по ассоциации от своего падения на ней, перешел к поезду, проскочившему нашу станцию, будто убегая от чего-то страшного, будто убегая

от жилища зачумленных... Сердце мое – в который раз при воспоминании о поезде – горестно, с болью жалось. Я закрипел зубами... Мелькнула мысль – а не устроить ли крушение поезда, следующего, когда бы он ни пришел, чтобы призраком промчаться мимо нашего Дома? Ведь рельсы можно разобрать, и тогда... Месть, месть!.. Мощное крушение – нате вам! Вы забыли меня, выкинули здесь, обрекли на ничем не заслуженное заключение в этой тюрьме, в этом сумасшедшем доме, так и я вам, и я вам устрою!.. Но... Сотни и тысячи жертв. Ни в чем не повинных людей... раненые, покалеченные, обожженные... Нет, нет, выкинуть поскорее эти мысли параноика... Подальше от таких мыслей... Что это мне в голову приходит, Господи!.. Даже им, этим уродам не пришла в голову такая ужасная, бесчеловечная... Неужели я уродливее уродов?.. Неужели я мог серьезно подумать о таком... Этому даже названия нет... мысли ублюдка... Бред, бред, я схожу с ума, надо взять себя в руки... Я немного отдышался и стал размышлять над визитом дочери начальника станции. Все-таки она вышла из комнаты, оставив меня в недоумении. Но я уже привык к странностям обитателей Дома, и мысль о взбалмошной дурнушке (возомнив о себе Бог весть что, только потому, что она тут одна молодая женщина) уступила место другой, главной мысли, занимавшей меня с тех пор, как я очутился здесь. И мысль эта была мыслью узника, всеми силами рвущегося на волю. И вдруг меня обожгла одна догадка, очень, на первый взгляд, простая, но почему-то до сих пор коварно прятавшаяся в глубинах сознания и всплывшая только сейчас, верно руководствуясь причудливой прихотью: захочу – выскочу, не захочу – не... Мне пришло в голову, нет, кинулось в голову: ведь до сих пор я отходил от Дома, стараясь держать его в поле зрения, чтобы можно было не заблудиться и вернуться обратно; я сооружал какие-то неверные, предательски изменявшие собственные ориентиры, чтобы по ним найти дорогу назад, тогда как – что могло бы служить лучшим ориентиром, что могло бы быть более надежным ориентиром, чем сами же рельсы! Господи, до чего же неловко скроил ты меня, мой мозг, до чего бывают тупы и несообразительны творения твои, имеющие под носом то, чего ищут долгие месяцы... До чего глупы творения твои, в нелепости своей вдруг достигающие случайно-гениальной лени и благодати... Но один – на миллион, а то и меньше, и один – за сто лет, а то и больше... Понадобилось почти четыре месяца, чтобы мне пришла в голову такая простая и спасительная мысль. Теперь главное: поскорее встать на ноги и... Нет. Стоп! В подобных делах спешка может оказаться трагичной. Следует все предусмотреть, взять с собой воды и пищи, особенно – воды, днем степь изнуряет человека жаждой, высушивает, будто стремясь превратить его в клубок сухих колочек... И еще – самое главное – надо все продумать, все до мельчайших деталей. Я уже знал, что случается с тем, кто наобум уходит из Дома. Я чувствовал, что-то надо хорошенько продумать, но что именно, пока представлял себе весьма смутно. Да, пока я лежу и есть возможность подолгу оставаться в одиночестве, надо продумать... Но что именно?.. Я стал усиленно размышлять и вскоре понял, что именно: в каком направлении нужно идти по рельсам – вот что сейчас было главное. И выбор направления был вопросом немаловажным, потому что поход по рельсам, или вдоль железнодорожного полотна (как будет угодно), мог продолжиться и день, и сутки, и двое суток, и трое. Все зависело от всего: насколько я буду бодр и силен, отправляясь в путь, насколько хватит воды, которую я смогу взять с собой, какая будет погода, какой будет путь – трудный или легкий...

Через несколько дней, когда опухоль прошла и я мог свободно передвигаться, не ощущая боли в ноге, мне поручили молоть муку на маленькой ручной мельнице. Примитивные жернова – закладывается зерно, бесконечное верчение, отнимавшее, кстати, немало сил, и в итоге – горсть или две муки, заново закладывается зерно... Однообразие этой работы утомляло, и я дал себе слово, как только закончу и наполню мукой два назначенных мне больших мешка, примусь за осуществление своего плана, который я лелеял и взращивал в душе последние дни и из которого я, конечно же, не собирался делать тайны: потому при первом удобном случае поделился своими соображениями с начальником станции.

Он поглядел на меня ничего не выражавшим тусклым взглядом.

– Будет лучше, если вы выбросите это из головы, – проговорил он не сразу, и мне показалось, что пауза ушла на переваривание его заржавевшими мозгами моего сенсационного сообщения, а сказал он свою затверженную фразу просто по привычке, как человек разуверившийся; эта догадка необычайно воодушевила меня – значит, им в самом деле не приходило в голову, что есть такой простой выход из положения?

– Но послушайте, я не только о себе хлопочу, – старался я изо всех сил говорить убедительно, чтобы пробудить его сонное сердце. – Мы все отправимся в путь. Мы обязательно придем куда-нибудь, вот увидите... Выйдем к населенным пунктам... к какому-нибудь городку или дерев...

Он смотрел на меня, не меняя выражения лица, и это меня смущало. Помолчав и видя, что я осекся и не собираюсь продолжать, он повторил свою фразу слово в слово, подчеркивая, должно быть, что все мои доводы пропустил мимо ушей, так как они большего и не заслуживают.

– Будет лучше, если вы выбросите это из головы, – он повернулся, чтобы уходить, считая разговор исчерпанным.

– Но... – сказал я, теряя надежду хоть что-то вдолбить в его башку, – но, надеюсь, вы дадите мне воды и пищи, когда я буду уходить?

Он опять ответил не сразу, стоял ко мне спиной, размышляя какое-то время, и так и не обернувшись, произнес:

– Да.

«И на том спасибо», – подумал я и вернулся к своей работе.

Ночью, оставшись один, я стал усиленно вспоминать, стараясь не упустить подробностей (тогда-то, конечно, я не придавал всему этому значения, даже не предполагал, как мне может понадобиться; как говорится, знать бы, где упадешь...), вспоминал так, что голова разболелась от напряжения, но необходимо было все восстановить час за часом – теперь от этого многое зависело. Вспоминал я: задолго ли до Дома была станция, где останавливался поезд и когда, я хватался за любую зацепку, любую трещинку в стершихся и крошащихся стенках памяти. И постепенно восстановил (напряженный труд мой увенчался успехом, но каким! – неотличимым от поражения) почти всю картину скучной, однообразной, как зевота, сводящая скулы, поездки. И когда я сообразил, что именно я собрал и восстановил в памяти, какие очертания песочного замка, порушенного волнами времени, мне сделалось по-настоящему страшно. «Нет, – подумал я, – нет, – наверно, я ошибся, тут что-то не так, надо начать сначала, видимо, я что-то упустил важное, потому что этого не может быть. В небрежном упущении проскочило главное. Начну сначала».

Я стал вспоминать с самого начала, уговаривая себя ни на секунду не отвлекаться и предельно сосредоточиться, хотя уже давно напряженное состояние мозга было на пределе моих физических возможностей. Я начал вспоминать с того момента, когда четыре месяца назад сел в поезд в своем городе... и пошел снова тщательно, кирпичик за кирпичиком, избегая пустот и бреши в стенах, строить картину, здание, жизнь, а конкретно – процесс поездки, час за часом, минуту за минутой. Я вспоминал пассажиров в своем купе и в коридоре, наши редкие, мало-значительные разговоры (черт бы побрал мою необщительность! Ведь они могли бы сообщить что-нибудь необходимое для меня в данной ситуации. Впрочем, кто мог знать, что так обернется?), вспомнил ворчливую гадкую проводницу, спровоцировавшую меня (надеюсь, что Господь накажет ее за зло, как учили меня в детстве: зло не твори, Господь видит всё и накажет рано или поздно), вспоминал, что они говорили мне и что я отвечал, что и когда ел в вагоне-ресторане и что при этом видел из окна, что привлекло – может быть – мое внимание; когда ложился и как спал; и вспоминая до ломоты в висках, до одышки и седьмого пота, весь взмокший, но теперь скорее от страха, чем от напряжения, я вновь пришел к тому же, что в первый раз заставило мое сердце сжаться от ужаса: поезд ехал без остановок, на пути поезда не было ничего. Никакого жилья, никакого селения или населенного пункта. Первое человеческое жилье на всем пути и был Дом. Волосы зашевелились у меня на голове, когда я проникся глубоко этой мыслью. Я попытался взять себя в руки, расслабиться, лежа на кровати, отдохнул немного и стал вспоминать в третий раз, теперь вдруг, как мне показалось, отчетливо понимая, как сходят с ума. Я еле довел свою память до конца по проезженной уже дважды, накатанной дороге (это-то и плохо, помнится, мелькнуло в голове, что дорога накатанная, теперь невольно клубочек памяти оказался в готовенькой колее, вырытой моими же руками), но и в третий раз результат был все тот же. Виновен. Виновен. Виновен, – сказал, поднявшись, и третий присяжный. Боже мой, застонал я, помоги мне, Боже... Чем же я могу помочь тебе? – кошунственно прозвучало в голове, и я, близкий к обмороку, к помешательству, к самоубийству, провалился в сон, с самой кручи, с пика утомления в бездонную пропасть. Провалился в сон, как небрежно сброшенный с носилок покойник в могилу. Провалился в могилу. Могилу в степи. Могилу в степи. Могилу в степи. МС. МС. МС.

Позже, когда я окончательно утвердился в мысли, что назад, откуда приехал, мне дороги нет, что я попросту не дойду обратно, не пройду столь огромное расстояние (кстати, восстановить удалось и вид из окна, и жалобы пассажиров на малопривлекательный ландшафт: бесконечная степь днем и ночью, пустынная, безжизненная степь, преследовавшая поезд, заглатывавшая его и стремившаяся проглотить окончательно в чрево свое), я все же, несмотря на это уже твердое убеждение, еще неоднократно вспоминал всю поездку от начала до конца, еще для одной, еще одной, еще одной контрольной проверки. Я понимал, что на пути назад меня могла бы ждать, восстановленная в памяти, другая станция – если б она была тогда, как на пути вперед ожидала одна только неизвестность. И риск. Вполне возможно – риск смертельный... Нет, назад дороги не было. К сожалению. И мне оставался один путь – вперед. Вперед, куда умчался бешеный поезд. Будем надеяться, – что там...

Но прошло еще долгих три недели, на протяжении которых, как и на протяжении предыдущих четырех месяцев, я не переставал ждать поезда – а вдруг,

вдруг приедет, остановится, впустит – хотя все меньше верил своему ожиданию; но не переставал напряженно, изо всех сил ждать и надеяться, боясь отходить от Дома далеко, чтобы успеть добежать, если вдруг покажется этот сказочный, сумасшедший, непредсказуемый поезд; не переставал ждать, как узник в камере смертников ожидает чуда без всяких на то оснований, потому что за всю жизнь чудо ни разу с ним не случилось (что уж там чудо! везения ни на грош), и все-таки надеется на него, и никакие трезвые мысли не мешают его глупой надежде: вот загремит отпираемый замок, дверь со скрежетом – таким до жути, до тошноты знакомым – распахнется, и ему сообщат об отмене смертной казни. Вам заменили высшую меру наказания на исправительные работы в колонии усиленного режима сроком... О радость! О счастье бытия! О солнце, луна, трава, краски и запахи! Можно дышать, думать, улыбаться, смотреть на небо – это уже не смерть, а то, что не смерть – прекрасно, и будь трижды благословенно! Жить, жить... Главное – жить, остальное приложится, притянется, приклеется, прикипит к жизни человеческой...

Прошло еще долгих три недели бесперывной, тяжелой, нудной и срочной работы, которую я не хотел оставлять незаконченной и тем самым перекладывать на других (впрочем, тяжелую работу и не на кого было бы переложить: единственная кандидатура молодого ТТ не подходила вследствие его хилости; и такую работу могли бы выполнять вместо меня только двое мужчин, как они и делали до меня. Значит, одного надо было высвобождать от иной работы. Это вызвало бы неприязнь ко мне), не хотел не потому, что почувствовал вдруг неодолимую привязанность к этим людям (напротив, у меня, рвущегося покинуть свою тюрьму, эти примирившиеся со своей участью узники вызывали отвращение, с каждым днем все более крепнущее), а потому, что руководствовался чисто практическими соображениями: хотелось расстаться с ними дружески, чтобы в случае чего – упаси Бог! – было бы куда вернуться. Короче, закрепить тылы...

Прошло еще три недели, прежде чем я смог приступить к своему плану. Теперь мне следовало хорошенько отдохнуть перед дорогой. С этой целью я сразу же после обеда, как только стало смеркаться, поднялся к себе и лег в постель. Но поздно вечером, когда я уже спал, в мою каморку явилась дочь начальника станции, разбудила меня, тряся за плечо – я научился спать чутко даже при крайней усталости и проснулся моментально – и без единого слова, сбросив свой балахон, подобие платья, обнажив выпирающие отовсюду кости, стала у моей кровати, чтобы я мог разглядеть ее в свете луны из-за решеченного окна.

– Если будете говорить, – произнесла она очень тихо, – говорите шепотом.

– Я в восхищении, – стараясь не отводить взгляда от нее, прошептал я, чтобы она не бросила мне яду в приготовленную уже воду для похода.

Тогда, естественно, она легла, и я лишний раз убедился в дикой, истерической скрипучести моей кровати, которой не уступала столь же истерическая страстность дочери НС. Таким образом, я этой ночью зарабатывал себе двух злейших врагов: ТТ – любовника дочери НС, и буфетчицу, претендовавшую на меня в качестве верного сожителя. Это – как минимум, если не принимать во внимание, что дочь начальника станции, это – дочь начальника, и еще неизвестно, как после этой ночи он отнесется ко мне. К тому же у ДНС была и мать, которой тоже трудно будет оставаться по отношению ко мне лояльной и молчаливой, как было до сих пор. Но, конечно же, страшнее всех их была сама ДНС, которая

не потерпела бы, попробуй я отвергнуть ее любовь, впрочем, это старое доброе слово вряд ли могло подойти в данном случае к нашему совокуплению. Плоды так называемой двойной измены не замедлили сказаться. За дверью, перемежаясь и накладываясь на скрип нашей кровати, закрипели половицы в коридоре, и на этот раз одним скрипом половиц дело не закончилось: дверь отворилась и нас застукали на месте преступления. Вошла буфетчица, и за ней, гораздо более робко, ТТ. Из чего я заключил, что визит в столь неурочный час спровоцирован именно буфетчицей, потащившей за собой и мягкотелого ТТ. Дочь НС прильнула ко мне, видимо, давая понять, что ради своего чувства пойдет хоть на смерть, но ни за что не откажется от меня. Это, естественно, не очень-то вдохновляло перед предстоящим уходом.

– Вы здесь? – сказал ТТ, обращаясь к дочери НС с таким видом, будто это было для него большой неожиданностью (интересно, кого он думал застать в моей постели?).

– Да, я здесь! – несколько слишком патетично для своего костлявого вида воскликнула шепотом дочь НС. – Я здесь, потому что я люблю его.

– Ты жалкая, костлявая шлюха! – зашипела буфетчица, что было не так уж далеко от правды.

– Не смейте, – вдруг яростным шепотом запротестовал ТТ, не совсем для меня понятно. – Не смейте о ней так...

– Жалкий дурень, – тут же в свою очередь получил он от буфетчицы. – Глаза разуй, она же никогда, никогда тебя... Э, да что там говорить!

– По какому праву вы ворвались сюда? – запоздало возмутилась ДНС.

– Она еще о правах тут вякать будет! – зло зашептала буфетчица. – Скажи спасибо, что глаза тебе не выцарапала, гадина!..

– Пошла вон отсюда! – сопровождая свои слова царственным жестом, от которого человек неподготовленный мог бы умереть со смеху, сказала ДНС, прижав голое бедро под одеялом к моей ноге. – А ты... – обратилась она, изменив тон, к ТТ, – тебя я с этой минуты видеть не хочу! Ты опошлил, испоганил мое чистое чувство к нему, – она показала на меня. – Да, я охладела к тебе, с тех пор, как появился он, я больше не люблю тебя, теперь он мой муж, чувству не прикажешь, сердцу не прикажешь любить, все проходит, а ты не понял такой простой вещи, а вместе с этой тварью...

– Сама тварь, паскуда! – тут же среагировала буфетчица.

– Вместе с этой тварью, – повторила настойчиво ДНС, – ворвался сюда, будто имеешь право вершить суд над нами, любящими друг друга, будто ты один только знаешь, кто как должен вести себя и что хорошо, а что предосудительно. Да, я люблю его, даже зная, что он хочет уйти от нас, и рано или поздно покинет Дом, но чувству не прикажешь, я охладела к тебе, и тут уж ничего не поделаешь, а врываться в чужую комнату посреди ночи, поверь мне, не самое лучшее, на что ты способен. Я-то тебя знаю, – сказала она с неоправданной грустью, видимо, чтобы лишний раз позлить буфетчицу, которая ТТ не знала, как знала его ДНС. – Да... Я была о тебе лучшего мнения, – скорбно добавила ДНС. – А теперь иди. И не забудь захватить с собой и ее... – ДНС брезгливым жестом указала на разъяренную, со сверкающими глазами буфетчицу. – Может, ты утетишься в ее объятиях. Утетишься. Она давно жаждет этого. Я от души желаю тебе этого, и забудь меня навеки.

Судя по легкости и накатанности странноватого слога, она заранее приготовила свою речь, предвидя, наверное, наперед, что визит со стороны буфетчицы и ТТ неизбежен в эту ночь. Я активно хлопал глазами на протяжении всего этого сдержанно-страстного монолога, не зная, как себя вести, и вообще, куда себя девать; но вскоре смущаться мне надоело, я устроился поудобнее в кровати и просто слушал и смотрел на происходящее в качестве зрителя, активно хлопающего глазами от изумления. Невиданные сцены, смертельный номер, только один вечер на манеже, ну и так далее... Когда ДНС говорила, в особо патетических местах она делала плавные жесты руками, и тогда оголялась ее тощая грудь; я невольно отводил глаза, потому что зрелище это, мягко говоря, было далеко не завораживающим; и в эти моменты мне казалось, что, видя это, ТТ должен был понимать, как мало он потерял (конечно, если он не был конченным болваном, в чем, впрочем, сомневаюсь). Буфетчица, перехватив мой взгляд, что я отвел от груди ДНС, понимающе, злорадно ухмыльнулась – мол, сам виноват, променял меня на такую образину... ТТ слушал ДНС, все ниже и ниже опуская голову, как провинившийся мальчишка, знавший, что совершил проступок, но не догадывавшийся о тяжести его, и вот теперь взрослый человек объяснял ему всю непоправимость и тяжесть совершенного им проступка. А когда обращенный к нему монолог закончился, он вдруг, не говоря ни слова, взял буфетчицу за руку, и они весело, чуть не вприпрыжку поскакали к двери, возле которой, обернувшись, одновременно скорчили нам рожи; буфетчица к тому же, считая, видимо, что одних рож явно недостаточно, похлопала себя по заду, гостеприимно приглашая нас в него, а ТТ при этом с самым невозмутимым видом громко пустил ветры, пока обезьянья гримаса не сползла еще с его лица. Однако все это, не исключая и естественных отправлений ТТ, никого не смутило, что поразило меня больше всего; мрачная ночная сценка напоминала кошмарные сны; но я постарался не подавать виду, что ошарашен всем происходящим в моей каморке, что могло бы им не понравиться.

– Ну вот и хорошо, – прошептала умиротворенно ДНС. – Мы ведь поладили, да? Мы расстаемся друзьями? Ведь правда?

Буфетчица и ТТ вышли, а она вновь прильнула ко мне с такой неукротимой страстью, будто вознамерилась продырявить меня в разных местах своими ко-
стями.

Несколько дней после этой ночи все-таки ушли у меня на то, чтобы утихомирить не совсем еще успокоившихся ТТ и буфетчицу, пока, наконец, я не почувствовал, что претензий ко мне они не имеют и вполне довольны уже друг дружкой в качестве новых партнеров. Старики в Доме в дела молодых не вмешивались – так уж у них повелось с самого начала – это сообщила мне ДНС, когда я высказал ей свои опасения насчет начальника и его жены. Но определенную холодность в отношении ко мне начальника станции после той сумасшедшей ночи я все же почувствовал. Итак, я, без вины виноватый, своим шагом, вернее, не своим, конечно, а шагом дочери НС, обидел старика. От этого у меня появился неприятный осадок на душе, но старик конкретно ничем не выказывал свою обиду, а жена его как была молчаливой, так молчаливой и оставалась. Через некоторое время я имел основания считать, что тылы свои укрепил и теперь никому не придет в голову делать мне пакости на прощание. Короче, наступало время, когда я со спокойной совестью мог оставить Дом, опостылевший мне до судорог Дом,

проклятый Дом, куда занес меня злой рок; оставить Дом, в котором если меня и не любили, то и не ненавидели, а это уже было немало после фокусов ДНС, вздумавшей поменять себе любовника, можно сказать, накануне моего предполагаемого ухода из дома.

Несколько ночей подряд я спал очень беспокойно, и мне снился один и тот же сон, чуть с каждым разом видоизмененный, чуть иначе подкрашенный, с легкими вариациями, но в сущности своей – один и тот же. Я выхожу ночью из Дома крадучись, стараясь не скрипеть дверьми и половицами и избегая света полной луны, прижимаясь к стенам, почему-то на цыпочках, со всякими ненужными предосторожностями продвигаюсь по платформе, соскакиваю с нее вниз и бегу что есть духу по степи, вдоль железнодорожного полотна, бегу по шпалам, вдоль рельсов, заросших степной пыльной травой, бегу, задыхаясь, преследуемый луной, бегу, бегу, и вот уже Дом скрывается из виду, тает в ночи, тьма поглощает его, и я чувствую облегчение от этого, словно огромная тяжесть падает с моих плеч: один вид Дома, похожего на мрачную крепость, на тюрьму в ночи, внушал мне мертвящий страх, а теперь я избавлен от этого страха, он исчез вместе с исчезнувшей громадой Дома, похожего на бесполезный прыщ, ненужный фурункул на теле степи; и тогда я замедляю бег, иду теперь не спеша, шагаю без страха; и к своему изумлению и величайшей радости вместе с первыми лучами солнца дохожу до какой-то незнакомой станции, совсем не похожей на Дом, нормальной станции с нормальными пассажирами на платформе, стоящими каждый возле своего багажа с билетами в руках, рядом с ними стоят провожающие, разговаривают, смеются... На меня никто не обращает внимания, и я взбираюсь на платформу по каменным ступеням, покупаю в кассе билет, пью в буфете минеральную воду и так же, как и все, ожидаю поезд. И поезд приходит, и удивительно скоро, я еще не успеваю даже поскучать на платформе, не успеваю истомиться, а он тут как тут, медленно, плавно останавливается у перрона. Я вхожу в свой вагон, устраиваюсь в купе на своей нижней полке, поезд трогается, и я разглядываю в окно купе веселые картинки, пробегающие мимо все быстрее и быстрее: ярких цветов домики, сады, коров, стада овец, пастуха с длинной палкой через плечо, мальчишек, полосатые, приглашающе поднятые шлагбаумы, желтые флажки в руках стрелочниц у переездов, и снова – яркие, радующие глаз домики среди зеленых лужаек, где играют дети... И так я еду столько, сколько мне хочется, и выхожу там, где мне хочется, выхожу, тепло попрощавшись с попутчиками и проводницей в вагоне, шагаю по перрону, вхожу в здание вокзала, прохожу по залу, поднимаюсь по деревянным ступеням на второй этаж (скрипучие, скрипучие ступени... ох, этот скрип... что-то знакомое – екнуло сердце!), прохожу по темному коридорчику (ох, что-то знако...) до узкой двери без замка и... вхожу в свою каморку с арестованной луной за решеткой окна.

Я каждый раз просыпался только тогда, когда добросовестно досматривал сон до конца. Дико стучало сердце, я старался отдышаться, унять боль в сердце, открывал глаза и видел спавшую рядом дочь НС, и не могу передать, как она опротивела мне за эти ночи, за эти бесконечные-бесконечные, заполненные костями ночи. Мелькали мысли об удушении. Тело в простыне – в степь. Закопать. Вот так. Лопату на место. Все. Дело сделано. Где наша Д? Где наша Д?! А я не знаю, где ваша Д... – хлоп-хлоп невинными глазами. – Может, гулять отправилась ваша Д?.. Чертовщина, что в голову лезет... Бежать, бежать отсюда, пока не свихнулся

окончательно! И на следующую ночь – тот же сон, спиралевидный сон с фокусом: вон тут нажимаете кнопку, дети, и вылетает красивая оранжевая рыбка, и сон повторяется, повторяется, вылетает рыбка, рыбка, и сон повторяется, и вылетает рыбка...

Нет, что ни говори, решение мое найдено было удачно – именно по шпалам, именно вдоль рельсов... Боязнь отлучиться далеко из Дома в степь, которая – теперь ясно – ничего не откроет мне, кроме уже однажды открывшегося однообразия, удручающей, невыносимой бесконечности, боязнь того, что может вдруг прийти, прискакать, бесшумной тенью прилететь сошедший с ума поезд, и в эти пять секунд его остановки меня не окажется на платформе (если только он остановится), эта боязнь превратила мою жизнь в суший ад, прекратила мои вылазки в степь, и вся жизнь моя состояла теперь из ежеминутных, ежесекундных ожиданий издали возникающего, нарастающего перестука, гула, несущегося шума другого мира, и жизненное пространство (исключив громадную, с земной шар степь) сузилось до пространства вокзала, узкой платформы, по которой можно было шагать взад-вперед, как по тюремной камере... Нет, нет, только по шпалам, а там, если мне повезет, и вдруг станет нагонять меня поезд, как стрела, неизвестно где выпущенная из лука, я с места не сдвинусь, стану между рельсами, раскинув руки, и если суждено мне погибнуть, пусть пронзит меня эта стрела, пусть причиной моей гибели станет другой мир, тот мир, что однажды я так неосторожно, нелепо, без любви покинул; и пусть тот мир столкнет меня в мрак и переедет по мне всеми своими колесами, всеми своими счастливыми ногами сороконожки, всей тяжестью своей, нагруженной заботами, хлопотами, всякой ерундой, от чего бежал я... Каждый вагон будет нагружен заботами, счастьем, радостью, горем, днями и ночами, болезнями и работой, любовью и изменой, предательством и дружбой, страстью и равнодушием, и все это будет ярко и полнокровно, как и быть должно, а не бездарным и серым подражательством, во что играют бледные тени, подобия людей в Доме. И если вагоны Поезда будут полны всем этим, а они обязаны быть полны всем этим, потому что все это называется коротко – жизнь, чему мы не всегда придаем значение, если все будет так, то пусть в наказание, что я заслужил, Поезд переедет меня, проедет сквозь меня, я без сожаления приму это наказание, потому что теперь я знаю: самое худшее, самое тяжкое из наказаний, придуманных Господом, – это пребывать в Доме, в мертвом Доме, полном мертвых теней, в Доме, высасывающем из человека жизнь и взамен дающем жалкое подражание жизни, игру в высохшие куклы, жалкую, смешную и печальную забаву для грешников, которых не примет ни ад, ни рай. Пусть будет так, Господи, и если Поезд Твой не остановится вовремя передо мной, раскинувшим руки, я, не колеблясь, без ропота в душе моей положу голову на плаху степи, на яркую рельсу ночи, ожидающую приближающегося топора Твоего...

Я уже достаточно наказан, отпусти меня, Дом, дай уйти мне, потому что я наказан так, как только ты, Дом, притворившись сияющим Городком, мог наказать меня. Здесь, в чреве твоём, я понял впервые, что я трус и червь, и никогда, никогда не был смелым, благородным, свободным, за которого всю свою жизнь успешно выдавал себя в среде себе подобных, и если мне еще предстоит жить, то жить я буду с этим позором и больше никогда не смогу подняться с колен перед самим собой. Отпусти меня, Дом, и прости меня. Прости меня, Дом, и отпусти меня. Здесь я познал такое, что каждый должен открыть в себе, чтобы

жить дальше с Богом в сердце и склоненной головой, которую без страха может подставить карающей деснице Его. Да будь благословенна карающая десница Твоя, что запаздывает всегда на целую человеческую жизнь. А на меня обрушилась. Да благословен будь Дом, что долгие годы стоял, терпеливо ожидая, будто заряженная мышеловка в ожидании маленького серого узника. А для меня захлопнулась. Благословен будь Городок и Поезд, привезший меня сюда, на край земли (на край или центр, не столь важно); и, оторванный от почвы своей, от жизни своей, я много тут познал и передумал, как нигде бы в другом месте не передумал бы и не познал. И я узнал, пожалуй, главное – почти все мы в обычной жизни не настоящие, играем чужие роли, проживаем чужие жизни и до самой смерти порой и представления не имеем, кто же мы на самом деле, какие мы настоящие... И когда я это подумал, я вдруг понял, что не надо мне прощаться тут ни с кем, потому что, что бы ни случилось, сюда я больше не вернусь, и если я хочу хоть теперь стать настоящим, стать собой, мне нужно уходить сейчас же, не дожидаясь рассвета, бежать отсюда сию же минуту. Да, именно так, именно так... Храни вас Бог, храни вас Дом, а я ухожу...

Я осторожно поднялся с кровати, стараясь не шуметь и не разбудить похрапывающую во сне дочь НС, оделся, вышел из комнаты, вышел из Дома и из потайного места у задней платформы достал большой холщовый мешок с водой и провизией, что выпросил у начальника станции. По моим подсчетам, при экономном расходовании продуктов должно хватить дня на три. Я осторожно, как в повторяющемся сне моем, прошел вдоль платформы, вышел в степь и двинулся по шпалам, сопровождаемый полной луной из сна же. Когда шагов через триста я обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на Дом, он предстал перед моим взором спящим монстром, недружелюбно поглядывавшим вслед мне слепыми глазами окон.

До утра шел я без устали, но не спеша, чтобы не переутомлять свое больное сердце, которое в последние дни стало частенько напоминать о себе приступами длительной, однако незначительной боли; дорога была ровная, я давно уже сошел со шпал и шагал теперь по степи, параллельно рельсам, метрах в пяти от железнодорожного полотна. Я шел, экономя силы, но часа через три после восхода солнца, когда началась жара, меня стала донимать жажда, а как только я утолил ее, дал себя знать голод; но я крепился, продолжая идти, стараясь не думать о еде в мешке у меня за плечами, пока не почувствовал, что от голода меня начинает мутить – сказывалась физическая неподготовленность городского человека, непривычного к длительным переходам. Я уселся на шпалах, поел, стараясь есть как можно меньше, отдохнул, бездумно обозревая пространство степи, раскинувшееся передо мной, и продолжил путь, на котором мне пока еще не встретилось ни одного живого существа – степного зверька или птицы, даже змей не видно было, хотя климат здесь был вполне для них подходящий – жара, да и степь кругом, ползи – не хочу... Нет, ничего не встречалось, кроме колючек, обдуваемых ветерком. Но больше всего меня угнетало отсутствие птиц в небе; точно такое же пустое, неподвижное небо, как над Домом, будто оно было зеркалом степи, и небесная пустота отражала пустоту земную. Рельсы блестели под солнцем, как вычищенные, смотреть на них было больно, солнечный зайчик бежал рядом со мной по ближайшему от меня рельсу, и такой необычный блеск их радовал, вселяя надежду, что если они такие яркие, не заржавевшие, значит, по ним все-таки

ходит, ходит Поезд... Несколько раз за этот день сильно покалывало сердце, и я садился отдыхать, перевести дух, и раза два поймал себя на том, что в рассеянье бездумно пью воду из своих скудных запасов...

К вечеру третьего дня пути почти вся провизия кончилась, а воды оставалось на несколько хороших глотков. Теплая, противная, желанная вода – жизнь... Я лег, как стемнело, и проспал на одной из шпал, прямо между рельсами, пока яркие солнечные лучи не пробудили меня поздним утром. Я чувствовал себя отдохнувшим, немного бодрее, чем вчера, но и есть хотелось зверски. Я сорвал горькую пыльную траву, росшую вдоль полотна, пожевал ее тщательно, но проглотить не мог, выплюнул. К полудню я шел по шпалам уже шатаюсь от усталости, теперь я утомлялся гораздо чаще, чем в первые три дня похода, и часто останавливался, чтобы полежать, передохнуть. Смачивал язык водой из вместительного кожаного бурдюка, что дал мне НС, сообщив попутно, что им пользовались все, кто решался покинуть Дом. И вот он снова здесь, многозначительно произнес НС, имея в виду бурдюк. Вечером, после захода солнца я уже еле передвигал опухшие ноги, и не помню как, в каком-то тумане, в полубессознательном состоянии повалился меж рельсов и уснул, если только то обморочное, крайне истощенное состояние, в котором я пребывал, можно было назвать сном. На следующий день я, еле передвигаясь, плохо соображая и плохо видя под нещадно палящим солнцем, уже не верил, что когда-нибудь на моем пути, на пути этих проклятых рельсов может возникнуть станция, а временами просто не мог сосредоточиться и понять, куда я иду, откуда и сколько времени нахожусь в пути... такие вопросы были мне уже не под силу. Теперь я шел, часто падая и проваливаясь в бессознательное состояние. И когда наступило утро следующего дня, я не понял, что сейчас: ночь – темно, или утро – светло, перед глазами стояла пелена, приходилось напрягать зрение, чтобы что-то разглядеть сквозь туман. Я машинально переставлял ноги, каждую минуту теперь близкий к обмороку, с непроходящей болью в сердце, весь изорванный и исцарапанный, в синяках и ссадинах от частых падений; от многочисленных ушибов я, казалось, не чувствовал своего тела, все тело источало одну сплошную боль, уже не воспринимавшуюся как боль... Иногда я приходил в себя, садился и рассматривал свои раны, притрагивался к кровоточащим ссадинам... Бурдюк и уже давно бесполезный мешок я растерял... Переставлял ноги машинально, почему-то уверенный, что надо идти вперед, в этом спасение. И так я шел, и прошел еще один день, а когда очнулся, не понимая, какое сейчас время суток, то уже идти не мог, не мог встать на ноги, и сил оставалось только на то, чтобы ползти. И я пополз, не совсем уверенный, в том ли направлении я ползу, не обратно ли, да и мысль эта пришла мне в голову только раз, только на краткий миг прозрения, и тотчас снова голова моя окунулась в туман. Жуткий, непрекращающийся гул стоял в голове, и какая-то липкая пелена мешала мне осмотреться вокруг... А когда после очередного обморока я пришел в себя, то осознал вдруг (вспышками на короткие мгновения озарялось сознание, когда что-то, краешек чего-то начинал выглядывать из реальности), что лежу и собираюсь ползти в открытой степи – привычной железнодорожной колеи нет здесь, рельсов по бокам от меня нет здесь, шпал подо мной нет здесь, и я лежу посреди степи... Я с трудом напряг взгляд, протер глаза, сильно зажмурился, открыл их и оглянулся: степь, степь... И солнце... И тут вдаль что-то неясно блеснуло... Или показалось?.. Я еще раз тщательно протер глаза, изо всех сил напряг зрение – нет, так и есть, снова

блеснуло... Я из последних сил пополз в ту сторону, и прошла целая вечность, прежде чем мне удалось доползти... доползти... На этот раз у меня не оставалось даже сил, чтобы прийти в ужас. Я лежал и тупо глядел на рельсы... ухотившие в землю. Я подполз ближе, теряя остатки сил от запоздало пронзившего меня страха, на который почти одновременно откликнулась жесточайшая боль в сердце. Охваченный ужасом, животным страхом, я глядел на свои руки, черные, разбитые до кости, кровоточащие руки, лежавшие на рельсе, на который я боялся смотреть... И все же, набравшись смелости, я глянул и увидел уже раз виденное: стальной, блестящий, холодноватый рельс уходил в землю... Два, яркие под лучами солнца, рельса параллельно уходили в землю, будто приглашали поезда в преисподнюю. Я долго смотрел на рельсы (словно хотел убедиться, что это не сон), что одинаково, в одном и том же месте, закругляясь, уходили в землю, а рядом, как ни в чем не бывало, шевелился под ветерком кустик пастушьей сумки. Голова моя сама собой поднялась, глаза усталились в голубое, чистое небо, а к горлу подступил жуткий звериный вой. Я выл протяжно, расходуя жалкие остатки сил, выл, как волк, пришедший умереть под этим солнцем в столь неурочный, не ночной час...

Всю ночь я упорно, сцепив зубы, полз по шпалам в обратном направлении, и мне удалось, кажется, проползти до утра изрядное расстояние. Утром вместе с жесточайшей дикой болью в сердце пришло сознание того, что сегодня я умру. Когда в мой затухающий мозг закралась эта мысль, я не был пронзен ею, не был удивлен, не был огорчен, и мне не стало страшно... Потому что кроме как в смерть, у меня не было другой дороги... Спасительная смерть прекратила бы мои мучения, спасительная, прохладная смерть, прохладная, как вода в сентябрьском море моего детства... Я вспомнил вдруг Дом, но он уже остался в другой жизни, не доберешься, не докричишься... Я вновь потерял сознание от сильного приступа сердечной боли, а когда очнулся – были звезды, и я, как обычно, лежал между рельсов, как между ногами женщины, родившей меня, вскормившей меня, любившей меня, тревожившейся обо мне... и все ради того, чтобы сейчас я подох здесь в ночи, в степи, на рельсах, ухотивших в ад... И тогда я почувствовал, как пустота взяла меня за горло, как ласково прижимается ко мне своими костями и тощими, уродливыми грудями, прижимается, жеманно, фальшиво уговаривая ступить в нее, войти в нее, великую пустоту, и я чувствовал еще немного, и я буду принадлежать ей, этой Пустоте. «Боже, – подумалось перед смертью, – а ведь Ты – мрак?... Я не могу молиться, меня не учили, и я сделался несчастным». И потому Пустота все теснее прижималась ко мне, я был ей сродни, с таким же пустым сердцем, пронзенным болью, я уходил в нее, никого не любя, ни с кем не желая прощаться. Пустота и мрак все теснее, все теснее прижимались ко мне, лежавшему на холодном рельсе. Я вспомнил вдруг всех, всех обитателей Дома: и начальника станции, и тощего телеграфиста, и дочь начальника станции, и его жену, и сторожа, и жену сторожа, и буфетчицу, и вечно спящую собаку... собаку, раньше которой мне приходилось подыхать в степи, покинутым, безвестным... Все они до этой минуты были для меня как тени, а не настоящие люди, потому, наверно, я и называл их сокращенно; я даже не удосужился поближе узнать их, постараться понять, расшевелить их мысль, полюбить их, ведь не все же умерло в их головах и сердцах; нет, нет, напротив, это у меня высохли мысли и осушилась душа, и мне недосуг было сближение с ними, потому что я рвался на свободу, стремился уйти от них, ненавидя в них свое невольное затворничество,

доходя порой до того, что мысленно обвинял именно их в этом своем затворничестве... Теперь я понимал, что люди эти ничем не хуже других, живущих в иных условиях, все люди везде одинаковы, это я сам стал другим, попав в их среду, это я стал сумасшедшим, а не они были, это я внес беспокойство в их мирный, размеренный уклад жизни, а не они вторглись в мою, и это они предлагали мне свое гостеприимство, которым я пренебрег, считая, видимо, что есть первосортные и второсортные люди, первосортная и второсортная жизнь, тогда как есть только жизнь и смерть, и, отвергнув жизнь, неминуемо придешь к смерти, и я сделал свой выбор, за что сейчас и расплачиваюсь. И теперь я вспоминал их с бесконечно теплым чувством, и вы в свой последний час вспомните всех родных своих и близких своих, как я вспоминал самых сейчас дорогих и желанных мне людей – обитателей Дома... Впрочем, кто знает, какие тени обступят человека в его последнюю минуту на земле... Тьма и Пустота подступали все ближе, и я ступил в Пустоту, уже не ощущая холода рельса, на котором лежал, потому что сам постепенно становился таким же холодным и бездушным, сам медленно превращался в холодное ничто, и звезды потухали одна за другой на предутреннем небе, когда вдруг до меня отчетливо донесся близкий, очень близкий перестук колес по рельсам, и я сохранившимися еще крохами ощущений почувствовал вибрацию и гудение рельса, с которого уже не в силах был сползти, не в силах шевельнуть ногой или рукой; и это был Поезд, это стремительно и неотвратимо приближался к моему телу Поезд Божьей кары, но был этот Поезд уже из другого, совсем другого мира, который только что, мгновение назад, перестал меня интересоваться, на который я равнодушно взирал мертвыми глазами с небес, рядом с потухающими звездами... И отсюда, сверху видел теперь его отчетливо, этот Поезд, что тонко, отпевающе свистя, стремительно, стремительно, стремительно всей своей громадой надвигался на мое бездыханное те-е-е-ело-о-о-о-о!

